

Василий Петрович Авенариус

Современная идиллия



Василий Петрович Авенариус

Современная идиллия

Серия «Бродящие силы», книга 1

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2572205

Аннотация

«Оркестр военной музыки на балконе висбаденского курзала недавно умолк. Толпа гуляющих стала разбредаться. Смеркалось. В занавешенных окнах игорного дома засветились огни. Над прудом, сливавшимся в отдалении с неопределенной, мгlistой чащей парка, лениво всползали ночные пары. Померанцевые деревья по берегу пруда рассыпали обильнее свои чистые благоухания. Вот вспыхнули один за другим и фонари перед курзалом и облили своим белым газовым светом несколько пестрых групп, наслаждавшихся, за небольшими, симметрично расставленными столиками прелестью летнего вечера и произведениями курзальской кухни, которыми расторопные кельнеры, шмыгавшие от одного стола к другому, старались наперерыв удовлетворять желающих...»

Содержание

I. За рулеткой	5
II. Аркадский уголок. Две жажды: любви и воды	15
III. Ультрапрогрессист	30
IV. Как заключаются нынче знакомства	39
V. Гисбах освещается. Взаимный дележ	53
VI. О комарах и сновидениях	65
VII. Две кокетливые альпийские девы	75
VIII. Корпорант, янки и эмансипированная	91
IX. Ржаной хлеб и безе	102
X. Синий чулок	111
XI. Гроза. О французских романах и патриотизме. Schloss Unspunnen	122
XII. Какое назначение женщины?	136
XIII. Где искать поэзии в природе?	145
XIV. Прекраснейшие произведения природы	153
XV. Естественно-исторические наблюдения над улиткой и неожиданный исход их	163
XVI. Перчатка брошена	175
XVII. И грянул бой!	189
XVIII. Судьба улыбается Моничке	202
XIX. Три примирения	213
XX. Гриндельвальдский глетчер	225
XXI. Как сватаются нынче	242

XXII. Откровения и разлад	250
XXIII. Как прощались сестры Липецкие	257
XXIV. Как прощалась Мари	265
Заключение	276

Василий Петрович Авенариус Современная идиллия

І. За рулеткой

Оркестр военной музыки на балконе висбаденского курзала недавно умолк. Толпа гуляющих стала разбредаться. Смеркалось. В занавешенных окнах игорного дома засветились огни. Над прудом, сливавшимся в отдалении с неопределенной, мглистой чащей парка, лениво всползали ночные пары. Померанцевые деревья по берегу пруда рассыпали обильнее свои чистые благоухания. Вот вспыхнули один за другим и фонари перед курзалом и облили своим белым газовым светом несколько пестрых групп, наслаждавшихся, за небольшими, симметрично расставленными столиками прелестью летнего вечера и произведениями курзальской кухни, которыми расторопные кельнеры, шмыгавшие от одного стола к другому, старались наперерыв удовлетворять желающих.

– Мамаша-голубушка, пустите! – раздался за одним из столов свежий, звонкий голос.

Вкруг этого стола сидели четыре особы женского пола:

одна пожилая, три молодые. Девушке, произнесшей приведенные слова, было лет не более пятнадцати. Черты ее, еще неопределившиеся, но необыкновенно миловидные, дышали детской доверчивостью. Темно-каштановые волосы ее были выстрижены в кружок, как у мальчика, вероятно, в подражание старшей сестрице, еще короче остриженной; что они были сестры – говорило их близкое семейное сходство. Но если младшая походила на мальчика, то старшая, с ее бледным лицом, выразительными, серьезными глазами, сильно смахивала на молодого студента, только что сдавшего свой приемный экзамен и считающего себя потому несколькими головами выше «непосвященной черни». Одеты они были обе просто, в платья темных цветов. Тем резче отличалась от них изысканностью и пестротой наряда третья девица, весьма недурная, маленькая, подвижная, шестнадцатилетняя брюнетка. Густые, смоляные кудри ее, бойко зачесанные на один бок, сплетались на затылке, как бы нехотя, под сетку и выползали оттуда там и сям резвыми змейками. Пожилая дама, наконец, мать двух сестер, глядела кровной аристократкой.

– Нельзя, Наденька, – отвечала последняя решительно на просьбу младшей дочери, – неприлично.

Старшая дочь усмехнулась.

– Неприлично? Если вы, маменька, боитесь, что кто увидит, так ведь завтра же нас уже не будет здесь. Отчего не доставить удовольствия детям?

– Mais elles joueront...¹

– Oh, non, ma tante, – вмешалась живая брюнетка, – nous observons seulement, nous ne jouerons pas.²

– Vraiment? Eh bien, allez.³

Отроковицы весело вскочили со своих стульев.

– Ты, Лиза, не пойдешь с нами? – отнеслась к сестре Наденька.

– Нет. Но, Моничка, ты старше ее, пожалуйста, следи за ней, чтоб она не играла.

– Будь покойна! – засмеялась в ответ брюнетка, увлекая подругу к центральным дверям игорного дома.

Миновав огромную залу с колоннами, в которой по временам даются общественные балы, и поворотив налево, девушки проникли в самый храм азарта. Благоговение внушающею торжественностью повеяло на них оттуда. Стены, обитые красным сукном, увешанные роскошными зеркалами, раздвинулись, казалось, в стороны, чтоб дать место длинному, зеленому столу, усыпанному металлическими деньгами и окруженному густою толпою играющих. Лица, одни огненно-красные, другие смертельно-бледные, дышали отталкивающею алчностью. Черты спокойные, с обыкновенным выражением, составляли исключение.

Среди сдержанного шепота (громко в игорных залах го-

¹ Но они будут играть... (фр.)

² О нет, тетя, мы только наблюдаем, не играем (фр.)

³ Действительно? Ну, идите (фр.)

ворить воспрещено) раздавалось бряцание монет, кружение рулетки, занимающей средину стола, скакание шарика и бесстрастный голос главного крупье:

– Faites votre jeu, messieurs! Le jeu est fait, rien ne va plus!⁴

Шарик успокаивался в одной из клеток рулетки.

– Dix-sept, noir, impair et manque!⁵

Цвета лиц изменялись, бормотались проклятия, слышались сдержанные возгласы дикой радости. Крупье своими деревянными грабельками сгребали с невероятным проворством со всего стола большую часть денег; к немногим выигравшим ставкам они бросали с тою же ловкостью соответственные суммы. Опять раздавался бесстрастный голос: «Faites votre jeu, messieurs», опять звякали деньги и прыгал шарик. Подобные же звуки доносились из смежных зал.

Пугливо подошли наши девушки к столу и с видимым интересом стали наблюдать за игрой; глазки у них разгорелись.

– Разве рискнуть? – спросила шепотом Моничка.

– Мы обещались не играть.

– Мало ли что! То нас ведь не пустили бы.

– Но, кажется, меньше гульдена нельзя ставить?

– Так неужели у меня нет гульдена? Я поставлю.

Она торопливо достала маленькое портмоне, оглянулась по сторонам: кажется, никто не видит – и швырнула на стол новенький, блестящий гульден. Монета покатилась и оста-

⁴ Делайте ставки, господа! Ставки сделаны, больше никто не ходит (*фр.*)

⁵ Семнадцать, черный, нечетный и пропускается (*фр.*)

новилась на краю стола. Ближний крупье поднял ее и осмотрелся на окружающих.

– Куда же его поставить?

Барышни переглянулись и, застыдившись, спрятались за соседей. Один из этих последних, сутуловатый, мрачный немец, выручил их из беды:

– Поставьте на rouge, – сказал он крупье. Рулетка завертелась – вышло rouge. Куш Монички удвоился. Рдея от удовольствия, потянулась она за ним. Но в то же время протянулась за выигрышем и чужая рука – рука услужливого соседа.

– Да гульден был мой... – осмелилась запротестовать девушка.

– Нет, мой! – отвечал тот решительно и завладел спорной ставкой.

Бедная ограбленная смутилась и ретировалась к подруге.

– Да ведь он был же твой? – заметила та с изумлением и негодованием.

– Мой, разумеется!

– Как же он, противный, смел взять?

Они не подозревали, что сосед их *должен* был взять, что то была его профессия: он принадлежал к известной категории туземных пролетариев, существующих исключительно на счет банка и играющих: никогда ничего не ставя, они стараются улучшить минуту, чтоб воспользоваться чужим выигрышем. Во избежание ссоры, им обыкновенно его и уступают; если же нет, то крупье, чтоб не замедлять игры, выпла-

чивает куш обоим, приглашая затем и того, и другого оставить комнату.

Настоящая воровская попытка, однако, не удалась. Тут же, за столом, сидел молодой человек, несколько худощавый, бледный, но собой благообразный, с небольшими усиками. Склонившись головою на левую руку и запустив пальцы глубоко в свои густые, белокурые волосы, он правой рукою, посредством грабельки, передвигал небольшие кучки денег с одного поля на другое. Счастье ему заметно неблагоприятствовало: порядочная горка гульденов, еще недавно красовавшихся перед ним, исчезала с чародейной быстротою. Лицо играющего разгорелось, рука затрепетала: им овладела игорная лихорадка. Тут заговорили за ним по-русски; он, видно, понимал этот язык, потому что оглянувшись – за ним стояли наши две подруги. Занятый игрой, он уже не пропускал ни одного слова их, и когда вороватый немец завладел спорным гульденом, то молодой человек остановил его за руку:

– Не трогать! Гульден принадлежит этой девице, я свидетель.

Хищник вздумал оправдываться, но тут нашлись и другие лица, видевшие, что он ничего не ставил. Деньги были возвращены по принадлежности – Моничке. Изобличенного мошенника вывели из комнаты.

Девушки отошли в сторону.

– Уйдем! – заторопила Наденька. – Нас уже заметили.

– Заметили – значит, дела не поправить: можно оставаться.

– Право, та chère⁶, совестно...

– Ничего, последний разик...

Она повлекла Наденьку к противоположному концу стола и, смелее прежнего, собственноручно положила гульден на красное поле. Увы! Фортуна уже изменила – вышло noir⁷. Новые совещания и новый проигранный гульден – уже кровавый.

– Надо воротить его...

Опять noir и – опять! В портмоне не оказалось уже целого гульдена. Само собою раскрылось другое, такое же маленькое портмоне, через зеленое сукно прогулялось еще несколько гульденов – пока не иссяк и этот источник. Тогда бедные жертвы, безмолвные, смущенные, исчезли незаметно из обители коварных демонов азарта.

Мы сказали – незаметно; но не совсем: молодой русский, уличивший грабителя, вскочил со стула, сгреб в карман остаток своих денег и поспешил за барышнями. В саду они подошли к двум старшим дамам; после короткого разговора все четыре направились к выходу. Молодой человек следовал в приличном отдалении. Миновав гостинный двор, они взяли налево, по главной улице, и тут поднялись на крыльцо высокого дома. Молодой человек взглянул кверху: между вто-

⁶ моя дорогая (*фр.*)

⁷ черное (*фр.*)

рым и третьим этажами красовалась колоссальная вывеска: «Vier Jahreszeiten»⁸. Обождав, пока дамы скрылись за дверьми гостиницы, он вошел вслед за ними. Его встретил кельнер. Молодой человек опустил ему в руку гульден. Кельнер почтительно поклонился:

– Чего изволите?

– Кто эти дамы, что вошли сейчас передо мною?

– Какой национальности, хотите вы знать?

– Да.

– Они русские: мать, две дочери да племянница.

– А фамилия?

– Липецкие.

– Давно они у вас?

– С неделю. Одна из барышень, что постарше-то, пользовалась здесь серною водою, да доктора присоветовали ей пить сыворотки, ну, и завтрашнего же дня они собираются в Швейцарию.

– В Швейцарию? Не знаете, куда именно?

– Кажется, в Интерлакен.

– Так.

Молодой человек повернулся на каблуке и задумчиво спустился с лестницы. Поворотив за угол, он в одной из смежных улиц вошел в тесную, темную прихожую небольшого одноэтажного домика, ощупал дверь и постучался.

⁸ «Четыре времени года» (нем.)

– Herein!⁹ – послышался изнутри густой мужской голос.

Молодой человек вошел в комнату, освещенную матовой лампой. На кровати, с книгою в руках, лежал, с приподнятыми на стену, скрещенными ногами, молодой мужчина, с флегматическим, умным лицом; полная русая борода делала его старше, чем он был на самом деле. Не повертывая головы, спросил он вошедшего:

– Ты, Ластов?

– Собственноручно.

– Удалось, наконец, продуться?

– Удалось. Послушай, Змеин: ведь работы твои в лаборатории Фрезениуса приближаются к концу?

– Даже кончились нынче.

– А! Значит завтра же можно в Швейцарию? Змеин с удивлением обернулся к приятелю.

– Сам же ты просил повременить? Или уже не надеешься взорвать банк?

– Не надеюсь. Madame Schmidt!

В соседней комнате задвигали стулом, и в дверях показалось добродушное лицо старухи.

– Вы звали меня, lieber Herr?

– Звал. Мы улепетываем завтра.

– Как? Уже завтра?

– Увы! Sch eiden thut weh! Aber was thun? – sprach Zeus¹⁰.

⁹ Войдите! (нем.)

¹⁰ Расставание болезненно! Но что делать? – говорит Зевс (нем.)

Сделайте-ка расчетец, что мы вам задолжали.

II. Аркадский уголок. Две жажды: любви и воды

Если некоторыми сентименталистами изъясляется сожаление, что миновал золотой век молочных и медовых рек, что нет уже Аркадии, то весьма неосновательно: Швейцария – этот обетованный край; в ней не только потребляется непомерное количество молока и меду, но и самая природа, дикая и прекрасная, располагает лишь к аркадскому времяпрепровождению. В наиболее романтической местности Швейцарии – в Berner Oberland, около уютного Интерлакена, сгруппировался целый букет аркадских уголков, и один из благовожнейших цветов этого букета – Гисбах.

Застенчиво, как красная девица, не нуждающаяся в похвалах молодой красе своей, скрывается Гисбах от нескромных взглядов в своем таинственном царстве, так что, подъезжая к нему на пароходе по Бриенцкому озеру, вы только угадываете его близость – по глухому клочкотанию падающих в озеро вод. В непосредственной близости вы различаете нижнюю часть его – пенистую массу, вырывающуюся из-под вековых хвойных деревьев. Взбираясь же вверх по обрывистому краю водопада, вы внезапно выходите на свет, в цветущую горную котловину, в собственную, сокровенную область Гисбаха и, как очарованный, не видите и не слышите вначале ни-

чего, кроме самого водопада. С высоты более тысячи футов низвергается он с западного склона котловины почти стремглав. В нескольких местах небольшие уступы скал удерживают его буйный порыв; но, как бы негодую на такое замедление, он с неистовым, глухим ревом разбрасывает по сторонам клубы серебристой пыли и, переведя таким образом дыхание, бросается еще с большею энергией в следующую пропасть. Сверху донизу одна непрерывная лента белоснежной пены, окаймляется он темно-зеленою стеною лесных гигантов. Там и сям легкие деревянные мостики, как шаловливые дети, осмелились перескочить бурный поток, но, оглушенные окружающим грохотом, так и замерли в воздухе и повисли над стремительною бездной.

Укрепили вы себе музыкаю вод духовные силы, сделайте несколько шагов – и обретете две обители, где за известное число франков можете восстановить и своего физического человека: в углу котловины возвышается многоэтажная, обширная гостиница «Hotel Giesbach», а против самого водопада несколько меньшее здание, прежний отель «Гисбах», составляющий ныне лишь род прибавления к главному отелю.

Для любителей искусственных развлечений есть, наконец, и театральные эффекты: по вечерам весь Гисбах освещается бенгальскими огнями.

Был тихий, солнечный вечер, с неделю после описанного в предыдущей главе случая. Гисбах начал уже облекаться в

ть; только вершины окружающих деревьев и верхний мостик не жились еще в золотых лучах уходящего светила. В окружающем воздухе разливалась отрадная, освежительная сырость, никогда, даже в знойный полдень, не покидающая окрестности водопада.

По левому берегу Гисбаха, по крутой, извилистой тропинке, то углублявшейся в чашу, то выбегавшей к самой воде, поднимались два путника – оба в легком, дорожном платье, с сумочкой через одно плечо, со сложенным пледом через другое. Один размахивал под такт распеваемой им песни тростью, туземное происхождение которой изобличалось красиво изогнутым рогом серны, служившим ей набалдашником. Другой, пыхтя, упирался на коренастый зонтик, какой советует путешественникам иметь при себе красный Бедекер. То были наши два приятеля: Ластов и Змеин.

Они остановились. Гисбах в этом месте низвергается с перевесившейся утесистой глыбы, так что между водой и утесом образуется небольшой грот, огороженный к воде перилами. Осторожно спустились туда молодые люди, скользя на сырых помостках. Гул катившихся через головы их вод был оглушителен; казалось, гора дрожала в своих основаниях и каждую минуту грозила обрушиться на смельчаков.

– Как здесь хорошо! – заметил Ластов, и шумом вод почти заглушало слова его. – Я люблю сильные ощущения. Если бы не было тут перил, свидетельствующих о частом посещении этого места, можно было бы даже струсить.

Змеин не считал нужным отвечать.

– А вид-то каков? – продолжал Ластов. – Точно сквозь вуаль.

– Вуаль? Ну, так что ж? Везде тебе мерещатся принадлежности женского туалета. Не знаю, право, с чего на меня-то нашла эта дурь? С какой радости я поднимаюсь на горы?

– Для наслаждения природой.

– Природой? Сказал, брат! Что ты называешь природой? Клочок водицы да землицы, который увидишь с вышины? Кринку козьего молока? Как подумаю о нем, так делается уж скверно! Все это есть и в долинах. К чему же, скажи ты мне, взлезать на головоломные вершины?

– Да хоть затем, наконец, чтобы укрепиться физически.

– Вот это так, тебе такое укрепление действительно необходимо. Посмотри, как экзамены обработали твою физику: точно заяц ободранный, ей-Богу. Ни одна Schwizermad'l не полюбит тебя.

– Э, не бойся! – засмеялся Ластов. – Девушки любят исхудалых, бледных; говорят: интересно. Но вот горе: если теперь скала обрушится на нас, то им, в самом деле, не придется полюбить меня.

– Зато оплачут.

– Кто оплачет?

– Мало ли кто. Обрушится скала – вода снесет тебя вниз, там найдут твой труп, по паспорту узнают фамилию и звание, воздвигнут крест с приличною надписью, и сентимен-

тальные посетительницы Гисбаха будут проливать горькие (respective соленые) слезы над прахом бедного, влюбчивого поэта, с которым погибла верная надежда на жениха.

– Да ты, Змеин, разве никогда не думаешь жениться?

– Не знаю; не на ком! Но тут сыро, как раз насморк схватишь. Выйдем.

– Выйдем.

Приятель поднялся из подводного грота на правый берег водопада, и тут, по взаимному соглашению, расположились в траве, подложив себе под головы пледы. Змеин закурил с видимым удовольствием сигару и забавлялся пусканием дымных кружков. Ластов уставился задумчиво в клоко-тавший под ногами их каскад.

– Ты, Змеин, – проговорил он после небольшого молчания, – отзываешься всегда с таким презрением о женщинах. Неужели ты никогда не любил?

– Не влюблялся, хочешь ты сказать?

– Ну да.

– Случилось как-то раз, надо сознаться, но давно, когда был еще гимназистом третьего класса. Я читал в то время много романов, так под влиянием их представил себе, что обожаю одну девушку, которая, сказать мимоходом, была ровно пятью годами старше меня.

– И ты думаешь, что никогда более не влюбишься? Недостойно разумного человека, а?

– Пожалуй, что и так.

– Ну, а я неразумен. Стоит мне только очутиться в обществе хорошенькой, умной девушки – и я уже как сам не свой:

И как-то весело,
И хочется плакать,
И так на шею бы
К ней я кинулся!

– Да какая ж это любовь? Это просто в тебе кровь разгрызается, как во всяком молодом животном. К тому же теперь «Весна, весна, пора любви», как сказал один из вашей братья поэтов.

– Нет, Змеин, ты не понимаешь меня. Животная природа моя не играет тут ни малейшей роли; в присутствии молоденькой девушки мои помыслы чисты, как... как вот эта вода, этот ландшафт перед нами. Я люблюсь только ее наивностью и застенчивостью, ее миловидностью и свежестью, но так же спокойно, как какую-нибудь прекрасной статуей.

– И животная природа твоя ни гугу? Молчит?

– Гробовым молчанием.

– Ну, уж не поверю. Взгляни-ка на меня: ведь я недурен, а?

– Так себе. Тебя особенно красит борода твоя.

– И ведь неглуп?

– Нет, нельзя сказать.

– Достойный, кажись, предмет для любви? Что ж ты, с которым я так дружен, который, следовательно, знает, что и характер мой не из самых-то скверных, не влюбишься в ме-

ня? – Что за дичь!

– Дичь твоего же сочинения. Ты ответь мне на вопрос: почему бы тебе не влюбиться в меня?

– Разумеется, потому что ты мужчина.

– А! Так предмет твоей любви должен быть непременно женщина, хотя бы она и не была так хороша, так умна, как я, например. Стало быть, ты влюбляешься в женщину только потому, что сознаешь, что она существо диаметрально тебе противоположное, что ты положительный полюс, она – отрицательный, а разные полюсы, известное дело, стремятся соединиться, дополнить друг друга. Это стремление совершенно безотчетно, как всякая животная потребность, как голод и жажда.

Ластов тихо засмеялся.

– Что ты смеешься? Разве неправда?

– Ты и не подозреваешь, душа моя, что попал сюда, в Швейцарию, вследствие той же любовной жажды, что притянул тебя сюда отрицательный полюс.

– Как так? Магнитные свойства мои в настоящее время, как в куске железа, безразличны.

– Но ты забываешь, что от прикосновения магнита и в железе возбуждается магнетизм. В настоящем случае этим магнитом послужил я.

Ластов рассказал приятелю о своей висбаденской встрече.

– Так вот что! – заметил Змеин. – А я не мог объяснить себе, что тебе так приспичило ехать в ту же минуту в Интер-

лакен. Но неужели ты успел уже влюбиться? Раз всего видел, да и то мельком, не сказал ни слова.

– Нет, я еще не влюблен, не знаю даже еще, которая из двух мне более нравится, но мне хотелось бы очень влюбиться, я жажду любви.

– Ты, конечно, сочинил стихи по этому случаю?

– А ты почему знаешь?

– Да ведь ваша братья, поэты, рады всякому случаю излить свои чувствования. Ну что ж, буду великодушен, прочту, дай-ка их сюда.

– Да я и не предлагал тебе.

– Будто не видно по твоему лицу, как ты рад. Ведь не скоро, пожалуй, представится новый случай блеснуть своим талантом, пользуйся.

Ластов вынул, как бы нехотя, небольшую карманную книжку и, отыскав что требовалось, подал ее другу.

– Я хочу только, чтобы ты понял мои чувства.

– Ну да, конечно. А если пощекотят авторское самолюбие – ведь тоже, признайся, приятно?

– Признаюсь: не без приятности.

Змеин взял книжку, повернул страницу, другую, и довольная улыбка пробежала по лицу его.

– Пододвиньтесь-ка сюда, синьор, надо вас по головке погладить.

– За что такая милость?

– Ты хоть поэт, да здравомыслящ и практичен, как мы,

грешные, не избранные: тут у тебя вперемешку – и стихи, и дорожные счета – за это люблю. Итак:

Бывают странные мгновенья,
Когда душа полна стремленья —
К чему? Неясно ей самой...

Действительно, странные мгновенья. Душе твоей бывает, значит, что-нибудь ясно? Она у тебя мыслит?

Но в жилах кровь играет чудно,
Дышать невыразимо трудно,
И сам не властен над собой...

Грустное положение, признаюсь: не властен над собой!

Под обаяньем смутной грезы,
Из глаз невольно каплят слезы...

Змеин прервал чтение и с удивлением посмотрел на друга.

– Вот как? Ты плакал?

– Нет не то чтобы... а близко было... – замялся тот, опуская глаза и краснея.

– Не ожидал от тебя, признаться, не ожидал. Где ж я, бишь, остановился? Да:

...слезы,
Ланиты млеют и горят —

Чтец сверился с раскрасневшимся лицом автора.

– Со справкой верно.

И, забыв пору ненастья,
Всем людям ты желаешь счастья,
Весь свет к груди прижать бы рад.

Ну, это неудобоисполнимая гипербола: совсем бы тебя разодрало.

Душа томиться перестала —

Противоречие, мой друг: «Под обаяньем смутной грезы, льются слезы», а «душа, говорит, томиться перестала»; тут-то именно и томление, охи да вздохи.

– Ну, полно тебе придирается! Читай дальше.

– Значит, все же «томиться перестала»? Так и быть, из дружбы допустим.

Осуществленье идеала
В дали предвидит наконец;
Растет в ней чувство, крепнет, зреет,
И бедная поверить смеет,
Что есть созвучие сердец.

«Что есть созвучие сердец!» – повторил критик нараспев. – Ничего себе, гладко. Только душе твоей, я думаю,

нечего догадываться, что есть созвучие сердец: твои бывшие студенческие интрижки достаточно, кажись, свидетельствуют, как глубоко ею понято это созвучие. «Созвучие сердец»! Ведь выдумают же такую штуку! Ох, вы поэты! – Да чем же эта метафора нехороша? Я, напротив, очень доволен ею. Подай-ка мне лучше тетрадку. Ты, Змеин, добрый малый, но поэзии в тебе, извини, ни капли нет. – Или я не слышу капли ее в море прозы. Не гомеопат – что ж делать!

Только пчела узнаёт в цветке затаенную сладость,
Только художник на всем чует прекрасного след! —

продекламировал с шутливым пафосом поэт.

– Вечно ты со своим Майковым!

– С Майковым? Не смеши. Ты разве читал когда Майкова?

– Да будто это не из Майкова? – начинается еще:

Урну с водой уронив...
Ластов расхохотался.

– Совсем, брат, осрамился: мой стих был из Фета, твой – из Пушкина. Однако от этих толков в горле у меня суцая Сахара. Следовало бы сходить в отель, испить рейнвейну, да лень. Попробуем гисбахских волн.

Вскочив на ноги, он стал спускаться по окраине утеса к водопаду.

– Разобьешься, – предостерег сверху товарищ.

Благополучно добравшись до середины скалы, Ластов сделал отважный прыжок и очутился на маленькой гранитной площадке, непосредственно омываемой набегаящими волнами водоворота, образовавшегося в углублении скалы. Молодой человек опустился на колени, положил шляпу возле себя, перевесился всем телом над водоворотом и, опустив голову к поверхности воды, приложился к ней губами. Вдруг взоры его, устремленные бессознательно на гранитный обрыв, приковались к расщелине утеса, откуда выглядывал какой-то светлый камушек; Ластов живо приподнялся и выломал его из гнезда. То была раковина, облепленная кругом глиной. Отколупав глину, Ластов достал из жилета маленькую складную лупу.

– Любопытное приобретение, Змеин, – заметил он, разглядывая раковину. – Как бы ты думал: *orthis*! Да, *orthis calligramma*; спрашивается, как она сюда попала, на Гисбах? Этот вид *orthis* встречается, сколько помнится, только в силурийской формации, а силурийской не водится в Швейцарии. Надо будет справиться в Мурчисоне.

– Спрячь-ка свою *orthis* покуда в карман, – сказал Змеин. – Силурийская формация изобилует серой ваккой, а здесь вакки и следа нет; значит, что-нибудь да не так. Но Мурчисон сам по себе, и гуманность сама по себе: ты утолил свою жажду да и не думаешь обо мне. На, зачерпни.

Он хотел бросить Ластову шляпу. Тот уже наклонился к воде.

– Я в свою. Ты не брезгаешь?

– Еще бы! *Naturalia non sunt turpia*¹¹. Ты ведь не помадишься?

– Изредка.

– Так выполосни.

Ластов последовал совету и зачерпнул шляпу до краев.

– *Nehmt hin die Welt! Rief Zeus von seinen Hohen*¹².

Чтоб было вкусней, вообрази себя героем известной немецкой баллады: ты – смертельно раненный рыцарь, томящийся в предсмертных муках невыносимой жажды; я – твой верный щитonosец, Кпарре, также тяжело раненный, но из бесконечной преданности к своему господину доползший до ближнего студеного ключа и возвращающийся теперь с полным шлемом живительной влаги.

– Воображаю. Только не мучь, пожалуйста, своего рыцаря, давай скорей... Эх, брат, ну как же можно! А все твоя баллада.

Изнывающему рыцарю не пришлось на этот раз утолить свою жажду; до краев наполненный шлем, размокнув от живительной влаги, поддался с одного конца давлению ее, и холодная струя плеснула в лицо оруженосца. Выпустив импровизированную чашу из рук, испуганный Кпарре отпрянул мгновенно в сторону. Но с присутствием духа, подобающим его высокому званию, рыцарь не выпустил шлема из ис-

¹¹ Естественное не безобразно (*лат.*)

¹² Примите мир! – рек Зевс со своих высот (*нем.*)

каженных предсмертною мукою пальцев; удрученный тяжестью заключенной в нем влаги, шлем опрокинулся, и освежительный напиток расплескался по обрыву.

– Vanitas, vanitatum vanitas¹³! – вздохнул рыцарь, качая перед собою в воздухе печально свесившуюся чашу.

– Ха, ха, ха! – заливался щитоносец, вытирая рукавом лицо. – Брось ее сюда; так и быть, налью снова.

– Нет уж, спасибо, в танталы я еще не записался.

Он вынул часы.

– Половина седьмого... Спустимся-ка в гостиницу, там рейнвейн, надеюсь, будет посущественнее твоих гисбахских волн.

Вскарабкавшись на площадку, Ластов взял свою насквозь измокшую шляпу из рук приятеля, выжал ее и накрылся ей.

– Брр... какая холодная! – проговорил он, морщась. – «Что ж ты спишь, мужичок?» Зовет с собой, а сам ни с места. Давай лапу. «Встань, проснись, подымись...» Фу, какой тяжелый!

Покраснев от напряжения, поэт успел, однако же, приподнять товарища настолько, что тот сам встал на ноги. Перебросив через плечи пледы, молодые люди начали спускаться по тропинке. С озера донеслись звуки звонка.

– Вот и пароход из Интерлакена, – сказал Ластов. – Ты, конечно, отправляешься утолить свою жажду? Я пойду встречать интерлакенцев, может, найдется кто русский. В Интер-

¹³ Суета, суета сует (*лат.*)

лакене, говорят, всегда много наших. Закажи, пожалуйста, и для меня порцию бифштекса да бутылку рейнвейну.

– Какого тебе? Иоганисбергера?

– Нет, либффрауенмилх, все, что находится в какой-либо связи с Liebe¹⁴ и Frauen¹⁵, пользуется теперь моим особенным благоволением.

Под водопадом друзья разошлись в противоположные стороны: Змеин повернул направо – к гостинице, Ластов взял налево – к пристани.

¹⁴ Любвью (*нем.*)

¹⁵ Женщиной (*нем.*)

III. Ультрапрогрессист

Когда поэт спустился к озеру, публика уже высаживалась с парохода, и небольшая платформа пристани отказывалась вместить всю толпу – более, впрочем, по тому обстоятельству, что было много дам, а прекрасный пол, проводящий летний сезон в Интерлакене, рядится, как известно, необыкновенно пышно и носит платья шириною чуть ли не в Бриенцское озеро.

Ластов остановился на краю дорожки, ведущей от пристани вверх к отелю, чтобы не пропустить никого незамеченным. На губах его мелькнула улыбка, и он махнул рукой: с парохода сходил знакомый ему русский.

То был юноша лет девятнадцати, много двадцати. Пушок едва пробивался на красивом, самонадеянном лице его. Стан его, и без того очень стройный и тонкий, делался еще подвижнее и гибче от видимых стараний юного комильфо вложить в каждое движение грацию. В правом глазу его ущемлялось стеклышко. Платье, сшитое по последней парижской моде, сидело на нем превосходно, и страдало разве излишком изящности и воздушности для наряда туриста в гористой местности, как Швейцария.

Приезжий также заметил Ластова и мотнул ему издали головой.

– Que diable! Est ce toi, que je vois¹⁶? – начал он скороговоркой, когда добрался до поэта, и протянул ему с грациозной небрежностью свою маленькую, аристократическую руку, обтянутую в палевую лайковую перчатку. – D'ou viens tu, parbleu¹⁷?

– Мы с Змеиным, одним университетским товарищем, сколотили рубликов по триста и вот, сдавши выпускной экзамен, пустились в чужие края. Месяц уже, как шатаемся из стороны в сторону. Но ты, брат Куницын, какими судьбами?

– Moi? Mais je viens, comme toi, de finir mon cours – que le diable emporte toute l'ecole, «je veux bien, que le diable l'emporte»! Maintenant je me suis pensionne a Interlaken... Quelle decouverte j'y ai faite, te disje! fichtre! Il ne me reste – rien, que de faire sa connaissance – un ange, un diable de fille, parole d'honneur! Coquette comme la belle Helene, vive comme un chaton, spirituelle comme...¹⁸

– Aber, Liebster, Bester, Gutester!¹⁹ – перебил, смеясь, Ластов. – Du hast sie ja nich einmal gesprochen und ruhmst schon

¹⁶ Какого черта! Это тебя я вижу? (*фр.*)

¹⁷ Мой Бог! Куда направляешься? (*фр.*)

¹⁸ Я? Но я просто хотел, как и вы закончить мой курс – черт возьми все эти школы, «Я не возражаю, чтобы их черт взял!» Сейчас я пенсионер Интерлаке-на... Какие открытия я сделал там! Черт! Остается только мне признаться – ангел, дьявол-девушка, ей-Богу! Кокетливая как прекрасная Елена, жива, как котенка, духовна как... (*фр.*)

¹⁹ Но, милый, милый, добрый друг! (*нем.*)

ihren Spiritus...²⁰? Куницын с недоумением посмотрел на говорящего.

– Que veut dire cela, mon ami²¹?

– Что?

– Да Германия?

– А Франция?

– Да ведь ты же говоришь по-французски?

– Говорю, но не так свободно, как по-русски. Со времен же гимназии мы с тобой объяснялись всегда на родном языке, так я не вижу надобности в чужом наречии.

– Образованному человеку должно быть решительно все равно, на каком бы наречии ни объясняться! Если же я раз заговорил с тобой по-французски, то тебе ничего бы не стоило отвечать мне на том же языке, а то вздумал еще подтрунивать! Franchement dit, ты поступил даже bien impoliment²².

– Напротив, друг мой, impoliment поступил ты сам: ты заговариваешь со мною по-французски; я отвечаю по-русски, тонко намекая тебе этим, что французский язык между нами не у места. Ты, и ухом не ведая, продолжаешь по-французски. Разве это не impolitesse? С таким же точно правом мог я употребить немецкий язык, который знаю лучше французского; тебя же это не должно было удивлять: «Ведь всякому образованному человеку решительно все равно, на каком бы

²⁰ Ты с ней ни разу не говорил и уже хвалишь ее душу? (нем.)

²¹ Что это значит, мой друг (фр.)

²² Ты говоришь по-французски... очень грубо (фр.)

наречии ни объясняться»; следовательно, и все равно, отвечают ли ему по-французски или по-немецки.

– И ты, ты говоришь это серьезно? – воскликнул Куницын. – Немецкий язык трещит, шипит, скрипит; французский, благодаря своей гармоничности, сделался интернациональным европейским языком, как арабский в Азии. Французский язык – можно смело сказать – гарантия развитости человека, так как с помощью его сближаются народности, сближаются север и юг, восток и запад, а сближение развивает и ведет ко всемирному прогрессу, составляющему, как известно, цель всякого, мало-мальски образованного человека XIX столетия!

– Ого-го, как ты красноречив, хоть сейчас в адвокаты! – засмеялся Ластов, просовывая приятельски руку под руку юного прогрессиста. – Как раз заставишь еще раскаяться, что я, по твоему примеру, не перешел в училище правоведения или не сделал, по крайней мере, изучения французского языка основной целью своей жизни. Расскажи-ка лучше что-нибудь про свою прекрасную Елену.

– Пожалуй... Ее, впрочем, зовут не Еленой, а Надеждой, или, вернее, Наденькой.

– Наденькой? Хорошенькое имя.

– Я думаю! – самодовольно подтвердил правовед, точно он сам сочинил его. – Их две сестры, она младшая. Есть и мать, *ruis* наперсница. Все как в романе.

– Да их не Липецкими ли уж зовут?

– Ты почему знаешь?

– Видел в Висбадене. Впрочем, незнаком. Так они здесь, на Гисбахе?

– Само собою! – приехали на одном со мною пароходе. Не то зачем бы мне приезжать сюда? Чего я тут не видел?

– Но ты говоришь, Куницын, что так же еще не познакомился с ними. Как же это так? Ты, кажется, парень не промах, мастер на завязки?

– Parbleu²³! Но тут совсем особенный случай. Заговорил с нею как-то за столом – не отвечает. Ответила ее кузина, да так коротко и язвительно, что руки опустились. Разбитная тоже девчонка, ой-ой-ой! Моничкой зовут. Не правда ли, оригинальная кличка? Вероятно, производное от лимона? Впрочем, собой скорее похожа на яблоко, на крымское. Вот бы тебе, а? Да и как удобно: принадлежа к новому поколению, она, разумеется, не признает начальства тетки, делает что вздумается, прогуливается solo solissima²⁴, и т. д. Советую приволокнуться.

– Да которая из них Моничка? Что повыше?

– Нет, то Наденька. Моничка – кругленькая, карманного формата брюнетка.

– Вот увидим. Покуда они для меня обе одинаково интересны.

– А для меня так нет! Моничка, знаешь, так себе, средний

²³ ей-Богу (*фр.*)

²⁴ абсолютно одна (*ит.*)

товар, Наденька – отборный сорт. Тебе она, быть может, покажется ребенком, нераспустившимся бутоном; но в этом-то и вся суть, настоящий *haut-gout*²⁵. Я крыжовника терпеть не могу, когда он переспел.

– Ты, как я вижу, эпикуреец.

– А то как же? Ха, ха! Вы, университетские, воображаете, что никто, как вы, не заглядывал в Бюхнера, в Прудона... Да, Прудон! Помнишь, как это он говорит там... Ah, mon Dieu²⁶, забыл! Не помнишь ли, какая у него главная *these*?

– Самое известное положение его: «*La propriete c'est le vol*»²⁷, но в настоящем случае оно едва ли применимо.

– Да не то!

– Он, может быть, говорит, что незрелый крыжовник лучше зрелого?

– Ха! Может быть... Но ты сам убедишься, что мой незрелый куда аппетитнее всякого зрелого. *Qu'importe*, что я не сказал с ней и двух слов: у молоденьких девиц все нараспашку – и хорошее и дурное; а если ты замечаешь в девице одно хорошее, стало быть, она – *chef-d'oeuvre*²⁸.

– *Chef-d'oeuvre* или козленок: любовь зла, полюбит и козла.

²⁵ высокий вкус (*фр.*)

²⁶ О, мой Бог! (*фр.*)

²⁷ Собственность есть кража (*фр.*)

²⁸ шедевр (*фр.*)

– Фи, какие у тебя proverbes²⁹!. Во-первых, она не может быть козленком, потому что она не мужчина, козел же мужского пола...

– Ну, так козочкой.

– А козочки, как хочешь, премилые животные: des betes, qui ne sont pas betes. Правда, un peu trop naïves, но d'autant mieux: тем более вольностей можно позволять себе с ними.

В таких разговорах приятели наши взбирались вверх по правому берегу Гисбаха, через груды камней и исполинские древесные корни, пока не вышли в горную котловину.

Куницын удостоил водопад только беглого взгляда, снял шляпу и батистовым платком вытер себе лоб, на котором выступила испарина.

– Неужели нет другого пути, чтобы добраться в эту трущобу? – спросил он, отдуваясь.

– Как не быть! Остальная публика, кажется, и предпочла большую дорогу. Но здесь ближе и романтичнее.

– Романтичнее! В настоящее время, в век железа и пара, всякая романтичность – анахронизм. Вот и ботинок разордрал! Нечего сказать – романтично!

– Да, милый мой, ботинки – в Швейцарии вещь ненадежная; в Интерлакене ты, вероятно, можешь приобрести такие же толстокожие башмаки, как у меня, на двойных подошвах и обитые гвоздями.

– Да ведь они жмут?

²⁹ Пословицы (фр.)

– Жмут, но только какие-нибудь два дня, потом ложатся по ноге. Впрочем, не надейся, что преодолел все трудности: я намерен встщить тебя еще вон куда... Что за вид, я тебе скажу!

Ластов указал на крутизны Гисбаха.

– Шалишь, не заманишь!.. Ба! Это что за душка? – при-
совокупил правовед, завидев молоденькую швейцарку в две-
рях небольшого домика, о котором мы еще не упомяну-
ли. Домик этот, тип швейцарского шалё, с перевесившеюся
кровлею, расположен под сенью деревьев, сейчас возле ста-
рого отеля, и есть один из магазинов бриенцской фабрики
ореховых изделий, снабжающей все главные пункты Швей-
царии своими красивыми безделушками, которые так охот-
но покупаются на память туристами. – Сюда, если хочешь,
зайдем, – продолжал Куницын, – тут также своего рода ро-
мантизм.

– Зайдем, пожалуй. Видел ты, как она приветливо улыб-
нулась, когда заметила, что мы повернули к ней? Продувной
народец! Улыбка ее относится исключительно к нашему ко-
шельку. Делается даже грустно, что и улыбки-то приходится
покупать! Guten Abend, Fraulein³⁰.

– Schonen Danr, meine Herren! Treten Sie nicht naher?³¹.

– Gewiss³². Замечаешь?

³⁰ Добрый вечер, фройлен (нем.)

³¹ Спасибо, господа! Не хотите ли чего? (нем.)

³² Конечно (нем.)

И они последовали за швейцаркой в сокровищницу ее.

IV. Как заключаются нынче знакомства

Змеин вошел между тем в общую столовую главного отеля «Гисбах», сложил плед, зонтик и дорожную суму в угол на стул, и, подозвав к себе кельнера, заказал две порции бифштекса – одну сейчас, другую через полчаса, да по бутылке иоганисбергера и либ-фрауенмилх. Кельнер, не подозревая, что вторая порция бифштекса и одна из бутылок предназначались отсутствующему спутнику Змеина, посмотрел на сего последнего с некоторым недоумением, потом чуть ухмыльнулся и, проговорив: «Very well, sir»³³, – поспешил исполнить требуемое. Он сообразил, что столь прожорливый субъект не может принадлежать к иной нации, как к английской.

За длиннейшим столом, покрытым снежно-белой скатертью, восседало уже несколько гостей, занятых кто ужином, кто чаем. Змеин расположился на свободном конце стола. Рядом с ним сел дородный, средних лет немец; в ожидании заказанного им пива, заговорил он с Змеиным. Тот, занятый своим ужином, отвечал довольно неохотно. Но немец, наводивший речь на полевые работы, удобрение почвы и т. п. и оказавшийся по справке агрономом, вскоре почуял в Змеине знающего химика, и, решившись во что бы то ни стало

³³ Очень хорошо, сэр (англ.)

воспользоваться этим случаем эксплуатировать безвозмездно чужие знания, осыпал его вопросами. Змеин, убедясь наконец в необходимости сносить терпеливо эту невзгоду, доел на скорую руку свой бифштекс, вытер салфеткою рот и, сделав изрядный глоток из стакана, повернулся к соседу:

– Ну, кончил. Теперь можете расспрашивать, сколько угодно.

Тот, конечно, не дал повторить себе это. Против и около них расположилось несколько дам – русских, как оказалось по разговорам. Хотя Змеин и не видел еще Липецких, но догадался, что это, должно быть, они. Лицо старшей из сестер, Лизы, показалось ему сверх того как будто знакомым, но он не мог дать себе ясного отчета, где именно видел ее. Г-жа Липецкая разговаривала с одной французской графиней, с которою сошлась на пароходе. Двух младших девиц она рассадилла намеренно розно, чтобы обуздать их пылкий нрав, высказывавшийся в подталкивании локтя соседки, когда та подносила к губам чашку, и т. п. Но, и разлученные, они не унимались и упражнялись в телеграфном искусстве особого рода, приставляя пальцы то ко рту, то к носу, то ко лбу, и затем хихикали дружно. Одна Лиза пила свой чай молча, не вмешиваясь ни в разговор дам, ни в мимическую болтовню девиц.

– Знаешь, о чем мы говорим сейчас? – весело обратилась к ней кузина.

– О чем?

– Ну, полно, Моничка! – воскликнула Наденька. – Не говори.

– Отчего же? Что за важность? Никто же не поймет. Хоть бы наши vis-a-vis: отъявленная немчура. Послушай только, о чем они толкуют.

– За тем-то ведь и оставляют поля под паром, – ораторствовал Змеин, – запас неорганической пищи растений наконец истощится, и только в год отдыха поле, выветриваясь, разрыхляясь под влиянием внешней сырости и тепла, успевает выработать новый запас легкорастворимых неорганических частиц, необходимых для постройки скелета растения и вбираемых корневыми мочками его, вместе с дождевою водою.

– А органические вещества? – возразил немец. – Хотя теоретики ваши и пишут, что из почвы растение пользуется одною неорганическою пищею; однако опыт показывает, что если удобрять землю падалиной, или вообще азотистыми веществами, как-то: копытами, рогами, то урожай бывает не в пример обильнее. Что вы скажете на это?

– Что ни химия, ни физиология, конечно, не показали еще, как именно происходит питание растений азотистыми веществами, но что, без всякого сомнения, растения питаются ими. Это Либихом распространено мнение, будто весь свой азот они извлекают исключительно из воздуха; ну, а что сказал Либих, то, разумеется, для научных кротов свято.

– Слышали, mesdames? – расхохоталась Моничка. – Чу-

до, как интересно. Перед ними сидят хорошенькие девицы, а они толкуют – об удобрении! Естественно, колбасники.

– Впрочем, рассуждают логично, – заметила от себя Лиза, – в особенности младший, бородастый. Даже Либиха не признаёт. Должно быть, дельный химик.

– Дельный химик по части пива – это так! Взгляни на эти мужицки-атлетические формы, на эту флегму, *si contente de soi-meme*³⁴ – ну, Бахус, да и только!

– Гамбринус, хочешь ты сказать? Бог пива – Гамбринус.

– А он ведь недурен, – заметила в свою очередь Наденька. – Только нос немножко широк да глаза зеленые, как у ящерицы. Зубы чистит тщательно; за это люблю: точно заглядываешь внутрь человека, в душу, которая так же чиста.

– Да, он не сливки, а сыворотки, – сказала Лиза, – но сыворотки здоровее.

– Так сказать тебе, Лиза, о чем мы болтали с Наденькой? – начала опять Моничка.

– Да перестань, – прервала Наденька.

– А вот нарочно же. Видишь ли, *ma chere*...

– Так постой же, дай, я сама расскажу. Признаваться, так признаваться.

Наденька оглянулась по сторонам и продолжала, понизив голос:

– Вчера, часу в одиннадцатом вечера, когда мы уже улеглись с тобой, раздается вдруг легкий стук в окошко. Я при-

³⁴ так доволен собой (*фр.*)

слушиваюсь – новый стук. Я вскакиваю, завертываюсь в одеяло и – к окошку. Гляжу: Моничка. Я тихонько открываю окно. «Спит Лиза?» – спрашивает она шепотом. «Спит. А что?» – «Не хочешь ли повояжировать?» – При этом она распахнула мантилью, которая прикрывала ей плечи. Я чуть не вскрикнула от удивления. «Что с тобою, Моничка?» – прошептала я. Вообрази: она, сумасшедшая, в одной сорочке...

– Неправда! – перебила Моничка. – Я была и в туфлях.

– Это так: после еще потеряла одну в траве. Я сперва не решилась идти с нею, но потом, рассудив, что все в доме спит, не могла удержаться, надела ботинки, накинула тальму – и марш из окошка в сад.

– Малюточки! Но к чему все это?

– К чему? Хотелось набегаться. Перескочив ограду, мы бросились в рожь, росистую, мокрую, ловить друг друга...

Змеин, продолжавший прения свои с немцем, вслушивался одним ухом и в разговор девиц. При последних словах Наденьки он встал из-за стола, сказал своему соседу: «Im Augenblick bin ich wieder da»³⁵, – и, взяв со стула в углу шляпу, вышел из комнаты.

В поисках Ластова Змеин добрел до старого отеля, когда завидел приятеля сквозь растворенную дверь вышеописанного склада швейцарских изделий, любезничающим с кокетливой продавщицей.

– Вот этот альбом, – говорила вкрадчивым голосом швей-

³⁵ Сейчас я вернусь (*фр.*)

царка, – вы подарите своей сестрице – ведь у вас есть сестрица? А то невесте... Но нет, для невесты мы выберем что-нибудь посолиднее... хоть бы эту брошку; изволите видеть: чистая слоновая кость, и олень как вырезан!

– Да у меня нет еще невесты... – бормотал растерянный поэт, перекладывая из руки в руку два ореховые ножа для прорезывания бумаги, чернильный прибор и прочее, которыми проворная девушка успела уже нагрузить его.

– Ну, так есть возлюбленная? – говорила она, лукаво заглядываясь ему прямо в глаза. – Чтоб у такого красавчика не было возлюбленной – я ни за что не поверю.

– В том-то и дело, моя милая, – отвечал в ее же тон Ластов, – что у нас не водится таких душек, как вы; потому даже и возлюбленной не имеется.

Куницын тем временем разглядывал в стеклышко разнообразные вещицы, аккуратно расставленные по шкафам. Он было попытался с нежностью прищуриться в глазки швейцарке; но когда та, ни мало этим не смущаясь, пристала и к нему: «Да возьмите то, да купите то», он сделался поразительно холоден и снизошел только приобрести крошечную ореховую папиросницу, которую нашел в самоновейшем вкусе.

– Чем ты тут занят? – спросил Ластова входящий Змеин. – Брось эти пустяки и пойдем со мною.

К поэту подошел Куницын.

– Что ж ты не представишь меня своему другу?

– Виноват. Благословляй свою судьбу, о юноша что удостоился узреть сего мужа! Се он, le celebre Kounizine³⁶, представитель петербургских mauvais sujets³⁷. До четвертого класса гимназии я имел счастье называть его своим товарищем; но тут, постигнув свое высшее назначение, он переселился в храм Фемиды; до нынешнего года посвящали его в таинства богини. И вот, попечения жрецов увенчались полным успехом: грациознее его никто не канканирует (у Ефремова предлагали ему по пяти целковых за вечер, с открытым буфетом), лучше его никто не знает приличий высшего тона (поутру весь стол у него завален раздушенными записочками); французским языком пропитан он насквозь, до кончиков ногтей, точно наэлектризован, так что стоит только дотронуться до него пальцем, чтобы вызвать искры изысканнейших парижских bonmots³⁸...

– Но, Ластов, это бессовестно... – протестовал, нахмурившись, правовед.

– Впрочем, добрый малый, – присовокупил поэт. – Как видишь, не сердится даже на мой преувеличенно-лестный панегирик.

– Очень приятно познакомиться, – сказал Змеин, пожимая руку правоведу.

– Сей, – продолжал рекомендовать Ластов, ткнув указа-

³⁶ Знаменитый Куницын (*фр.*)

³⁷ сволочей (*фр.*)

³⁸ Остряков (*фр.*)

тельным перстом в грудь друга, – Александр Александров сын Змеин, натуралист, также вполне оправдавший надежды своего начальства, Ну, и... натуралист, одно слово. Понимаешь?

– Не совсем. Должно быть, нечто вроде тебя?

– Приблизительно, только еще воплощенное. Ты, Змеин, звал меня зачем-то?

– А вот видишь ли: я пойду и сяду в гостинице за стол, ты подойди да заговори со мной по-русски.

– Больше ничего?

– Больше ничего.

– Но ради какой цели, позволь узнать?

– Это ты из дела усмотришь. Исполни только мои указания.

Молодые люди направились к главному отелю. Змеин вошел в столовую первым, занял свой стул и возобновил разговор с любознательным немцем. Вошедший несколько спустя с Куницыным Ластов, согласно условию, подошел к сидящему приятелю и, положив ему руку на плечо, спросил во всеуслышание:

– А что ты, брат, заказал для меня бифштекс и рейнвейну?

Нельзя изобразить, какое магическое действие произвели эти, сами по себе весьма невинные, слова на наших девиц. Наденька, узнав в Ластове с первого же взгляда висбаденского игрока, вспыхнула до висков и не знала, куда отвернуться; Лиза подняла голову и молча вперила в Змеина изумлен-

ный, строгий взор; Моничка, наконец, приснувшая сначала, поняла тут же всю неловкость своего положения и с запальчивостью обратилась к Змеину:

– Вы, monsieur, знаете по-русски и не могли объявить нам об этом заранее?

– Напрасно вы горячитесь, – отвечал спокойным тоном Змеин. – Не вы ли сами посвящали все присутствующее общество в ваши частные тайны? Чем виноват смертный, случайно понимавший по-русски?

– Но вы обязаны были предупредить нас!

– Я и предупредил: позвал товарища, чтобы он при вас заговорил со мною.

– Как? Вы нарочно сходили за ним? C'est affreux³⁹.

– Послушайте, милостивый государь, – обратилась тут к Змеину Лиза, вымеривая его ледяным взглядом, – вы хотели дать нам урок?

– Имел в виду.

– Но по какому праву, позвольте вас спросить?

– По праву старшего – наставлять детей.

– Детей! Если б вы знали, с кем говорите...

– А именно?

– Я... я более года посещала университет, покуда не вышло запрещения...

– Так вы экс-студентка? Что ж, этого товару на свете не искать стать: божья благодать.

³⁹ это ужасно (фр.)

– Да, благодать! Но это не все. В настоящее время я занимаюсь своим предметом дома и в будущем мае думаю сдать уже на кандидата, а там, даст Бог, и на магистра, на доктора... Вот что-с!

– Дай Бог, дай Бог вам всякого успеха.

– Ты не думай, та chere, что он хотел предостеречь нас, – вмешалась с желчью Моничка. – Это было одно мальчишество, желание посмеяться над девицами... Мы презираем вас, сударь!

– Видите, как вы неразборчивы в выборе ваших выражений, – возразил с прежним хладнокровием Змеин. – Надо быть осторожнее: другой на моем месте, пожалуй, отплатил бы вам тою же монетой. Я вижу, приходится изложить вам ход дела систематически. Я толковал без всяких задних мыслей с сим достопочтенным тевтоном. О чем? Вы, может быть, слышали.

– Очень нужно нам подслушивать ваши скучные разговоры!

– Зачем же отпираться, Моничка? – заметила Лиза. – Ну, мы слышали, о чем вы говорили. Что ж из того?

– Дело не в предмете нашего с ним разговора, в том, чтобы вы знали, что предметом этим были не вы. Тут долетает вдруг до слуха моего несколько слов обо мне. Как было не насторожить ушей! Обнаруживать же, что я понимаю вас, не было резонной причины: вы говорили обо мне – тема самая приличная. К тому же куда как приятно подслушать лестный

о себе отзыв из прелестных девичьих уст!

– Пожалуйста, без колкостей, сударь!

– Тут зашла у вас речь о вчерашней авантюре, – продолжал Змеин. – Я мысленно зажал себе уши, но что прикажете делать, если мера эта не оказалась вполне состоятельной? Расслышав кое-что из вашего разговора и опасаясь, чтобы вы и в другой раз, перед менее снисходительным слушателем, не скомпрометировали себя подобным же образом, я почел своим долгом преодолеть природную флегму (что я второй Обломов – подтвердит вам всякий, кто мало-мальски знает меня), встал и пошел вот за ним. Я думал, что вы будете мне еще душевно благодарны.

В продолжение этой рацеи нашего философа черты Лизы начали мало-помалу проясняться.

– Мы где-то с вами уже встречались, – промолвила она. – Вы не из петербургского ли университета?

– Так точно.

– Что же вы не сказали нам этого с первого же начала? Ваш приятель, должно быть, также университетский? Его я, кажется, видела вместе с вами на лекциях.

– Да, мы с ним одного факультета и курса.

– Ну, вот. Знаете что? Вы, кажется, вовсе не такой злодей, как представилось нам сначала. Вы куда отсюда? В Интерлакен?

– В Интерлакен.

– И играете в шахматы?

– Играю.

– Послушайте, тут ужасная скука: хотите быть знакомым с нами?

– Но, Лиза!.. – шепнула ей Наденька, разгоревшаяся при последних словах сестры, если возможно, еще пуще прежнего. – Ведь он все расскажет своим товарищам...

– Да! – обратилась к Змеину экс-студентка. – Вы ведь ничего еще не говорили этим господам о сюжете нашего давешнего разговора?

– Нет, не успел.

– Так и не говорите. Молодым девушкам, знаете, конфузно. Стало быть, решено: мы знакомы?

– Пожалуй, мне все равно. А вы порядочно играете в шахматы?

– Вот увидите. Однако пора и узнать подробнее, с кем мы имеем дело. Кто вы, господа?

– Я и он, – сказал Змеин, указывая на Ластова, – кандидаты естественных наук, я – будущий мыловар, он – будущий просветитель юношества.

– А зовут вас?

– Меня Александром Александровичем Змеиным, его – Львом Ильичом Ластовым.

– А вы кто? – обратилась Лиза к Куницыну. – Бьюсь об заклад, что лицеист или правовед?

– Из чего вы заключили? Да, я был правоведем, но уже окончил курс – с девятым классом! Зовут меня Куницыным.

– Il me semble, que nous avons déjà vu monsieur à Interlaken⁴⁰? – заметила насмешливо-кокетливо Моничка.

– A votre service, mademoiselle⁴¹, – отвечал, ловко расклавываясь, правовед.

– Теперь очередь за нами, – сказала Лиза. – Я – Лизавета Николаевна Липецкая, чин и звание мое вам уже известны. Это – сестра моя, Надежда Николаевна, петербургская гимназистка. Вот наша мать, жена тайного советника Липецкого. А вот, Саломонида Алексеевна Невзорова – один из будущих перлов петербургских великосветских балов, – прибавила экс-студентка не без иронии.

Жена тайного советника хотела было вмешаться в разговор молодежи, ибо находила неслыханным и ни с чем несообразным такое внезапное знакомство с вовсе незнакомыми людьми, но никто из участников маленькой интермедии не удостоил ее внимания, и, пожав плечами, непризнанная родительница повернулась опять к своей французской графине.

Немец, сосед Змеина, угадывая сердечное желание стоящих за ним молодых людей подсесть к своим новым знакомкам, допил наскоро остатки пива и поднялся с места.

– Вы, господа, может быть, устали? – проговорил он. – Я, со своей стороны, насиделся. Как бы вам только поместиться.

⁴⁰ Мне кажется, что уже виделись с джентльменом из Интерлакен (*фр.*)

⁴¹ К вашим услугам, мадемуазель (*фр.*)

Но юноши поместились как нельзя лучше: соседи направо и налево поотодвинулись, в открывшийся промежуток был втиснут новый стул – и поместились. Завязался разговор, непринужденный, веселый, как между старыми знакомыми. Куницын, который предшествующее лето провел в разгульной столице Франции, знал множество «ароматных» анекдотов из области тамошнего полусвета и преимущественно способствовал оживленности разговора. Отроковицы заметно успокоились от первого волнения, изобличая похвальный аппетит: наперерыв намазывали они себе на полумомтики рыхлой, белой булки свежего масла и сверху, как водится, зернистого, полужидкого меду.

Блюда с ветчиной, холодной говядиной, сыром, земляникой, скудели видимым образом; земляники потребовалось даже второе увеличенное издание.

V. Гисбах освещается. Взаимный дележ

В девять часов раздался внезапно за окнами столовой сигнальный пушечный выстрел. Все вскочило, переполошилось.

– Иллюминация, – переходило из уст в уста. Дамы схватились за мантильи и платки, мужчины за пледы и шляпы; ужин и чай были брошены; всякий спешил выбраться на вольный воздух.

На дворе стояла ночь, чудная южная ночь, теплая и безлунная. В темно-синей, почти черной бездне небес мерцала робким огнем одинокая вечерняя звезда. Внизу, в земной юдоли, в горной котловине, было непроницаемо темно, хоть глаз выколи. Только пенистые каскады немолкаемого Гисбаха белели в отдалении.

На площадку перед старым отелом, то есть прямо против водопада, была вынесена армия стульев; гости атаковали их с ожесточением. Смех, говор, треск стульев! В окружающем мраке никто никого не узнает.

– Вы это, N. N.? (Называется имя.)

– Нет, не я.

– Не вы?

Старая, но хорошая острота, возбуждающая общую весе-

лость.

Вот от главного отеля начинают приближаться яркие блудящие огни; за каждым огоньком вьется змейка освещаемого им дыма. Вскоре можно различить людей с факелами. Длинной процессией тянутся они вдоль окраины чернеющего леса, в направлении к Гисбаху. Теперь они взбираются, один в известном расстоянии от другого, на крутизны водопада; то пропадут в сумраке чащи, то явятся опять, чтобы в то же мгновение вновь скрыться. Вот мелькнул свет и на верхнем мостике – и все огни разом исчезли. Наступила прежняя темь, оглашаемая только немолчным гулом падающим вод. Вдруг под ногами зрителей сверкнул огонь, раздался оглушительный пушечный выстрел. Все вздрагивают и вскрикивают. Но крик испуга переходит в возглас удивления: вся водяная масса, сверху донизу, вспыхивает мгновенно одним общим волшебным огнем. Подобно расплавленному металлу, ярко светясь насквозь, пенистые воды Гисбаха низвергаются, словно звонче и шумнее, с уступа на уступ; прозрачная, светлая дымка водяной пыли обвеивает их. От воды освещаются трепетным блеском и окружающие мрачные лесные исполины. Ярко-белый цвет вод переходит незаметно в красный, красный – в пунцовый. Верхний каскад зеленеет, и весь водопад донизу заливают зеленым отливом. Тихо-тихо меркнут светлые воды, сначала наверху, потом все ниже и ниже; мгновение – и все погрузилось в прежний мрак.

Зрители, любовавшиеся невиданным зрелищем с прита-

енным дыханием, только теперь очнулись от очарования. Все заговорило, задвигало стульями.

– А в самом деле, очень недурно, – заметила Лиза, – лучше даже, чем днем.

– Ах, нет, ma chere, – возразила Наденька, – бенгальское освещение – искусственное, следовательно, хоть и поражает сильнее, но не может сравниться с дневным, естественным.

– Ты сама себе противоречишь, моя милая. Ведь бенгальское освещение, говоришь ты, действует на тебя глубже дневного?

– Глубже.

– А между тем в нем нет для тебя ничего неприятного?

– Нет, оно даже, может быть, приятнее дневного, но оно искусственное, а следовательно...

– Полно тебе сентиментальничать! – прервала Лиза. – Есть разве какое существенное различие между освещением того или другого рода? И здесь, и там происходит не более как сотрясение эфира, игра световых волн на одном и том же предмете – воде, и в том, и в другом случае раздражается зрительный нерв, и чем приятнее это раздражение, тем оно и благороднее: всякое ведь сотрясение эфира естественно, искусственно. Солнце могло бы точно так же светить бенгальским огнем, как светит теперь своим обыкновенным светом, и тогда ты сама не нашла бы в таком освещении ничего неестественного.

– Да вам хоть сейчас в профессора! – заметил шутливо

один из молодых людей.

– Сестра молода, – отвечала серьезным тоном экс-студентка, – всякая новая мысль нелишня в ее годы.

– Вы говорили про раздражение зрительного нерва, – вмешался Змеин. – Я должен заметить, что прежде всего раздражается в глазу сетчатая оболочка, а уж от этой раздражение передается чрез зрительный нерв мозгу.

– Ну, пошли философствовать! – перебил нетерпеливо Куницын. – Бенгальское освещение развлекло нас более дневного, значит, оно и лучше. Что тут толковать?

Общество подходило к гостинице.

– Не сделать ли еще ночной прогулки? – предложил Ластов.

– Ах, да, да! – подхватили в один голос Наденька и Моничка.

– А я думаю, что нет, – решил Змеин. – Пароход отходит завтра чуть ли не в седьмом часу утра, поэтому, если мы хотим выспаться, то пора и бай-бай.

– Вы самый рассудительный из нас, – сказала Лиза. – В самом деле, мы уже вдоволь насладились вашим обществом, господа, хорошего понемножку. Пойдемте, детушки.

– Пойдем. Доброго сна, господа.

– Au revoir, mesdemoiselles⁴², – отвечал Куницын.

– Прощайте, – сказал Ластов.

– Кланяйтесь и благодарите, – заключил Змеин. Наши три

⁴² До свидания, мадмуазель (фр.)

героя решили единогласно потребовать три отдельных номера: оно удобнее, а цена та же, так как в гостиницах почти повсюду берут плату не за комнаты, а за кровати. На беду их, в отеле «Гисбах», при большом стечении публики, бывает, несмотря на относительную просторность здания, довольно тесно; почему приезжие, справившиеся предварительно в краснокожем путеводителе, всегда позаботятся заблаговременно о ночлеге. Наша молодежь не заглянула в Бедекера, а когда обратились со своим требованием к кельнеру, то получила альтернативу: или удовольствоваться всем троим одним номером, или же искать пристанища в окружающих дебрях. Последнее, как неудобноисполнимое, было отвергнуто, первое со вздохами принято. Отведенная им комната оказалась под самую крышею и имела полное право на название чердака; она была так низка, что Ластов (самый высокий из молодых людей), не становясь на цыпочки, мог достать рукою до потолка. Три кровати занимали почти все пространство комнаты.

– Ну, брат Ластов, – заговорил Куницын, – как ты находишь мою *belle Helene*⁴³? Не достойна она этого титула, а?

– Как тебе сказать?.. Прекрасной Еленой ее едва ли можно назвать: троянская красавица, сколько мне известно, была женщина вполне расцветшая, в соку, тогда как Наденька – ребенок. Но она, слова нет, мила, даже очень... Видно, что ей и непривычно, неловко в длинном платье, и в то же время

⁴³ Прекрасную Елену (*фр.*)

хотелось бы казаться взрослой; застенчивость дитяти с эксцентричными порывами первой самостоятельности и придает ей эту особенную привлекательность.

– Bravo! Так она тебе нравится? *Malgre*⁴⁴, что незрелый крыжовник?

– Я и не восставал против незрелого крыжовника; меня удивляло одно: как ты, человек столь рафинированный, мог прельститься ею? Теперь отдаю полную честь твоему вкусу. Похвально также, что они с Лизой не шнуруются: без корсета талья обрисовывается куда пластичнее, рельефнее, и в то же время не дает повода опасаться, что переломится при первом дуновении. Да и в умственном отношении Наденька, кажется, не из последних: немногие слова, сказанные ею, были так логичны...

– Та, та, та! Это что? – воскликнул Куницын. – Пошел расхваливать! Уж не собираешься ли ты отбить ее у меня?

– А если бы? Она и мне более Монички нравится.

– Нет, уж, пожалуйста, не тронь. Ты ее знаешь всего с сегодняшнего дня, значит, не так привязался к ней... Условие, господа: каждый из нас выбирает себе одну для ухаживанья и, как верная тень, следит за нею; другими словами: не вмешивается в дела остальных теней. Нас трое и их три, точно на заказ. Вы, m-г Змеин, берете, разумеется, Лизу? Змеин поморщился.

– Да полно вам кокетничать! Кому ж, как не вам, играть

⁴⁴ Несмотря на (*фр.*)

с нею в шахматы? Кто, кроме вас, выдержит с этой флегматической докой? Не взыщите за правду. Я не постигаю только, как вы еще не сходите с ума от нее? Совсем один с вами темперамент, точно из одной формы вылиты, а наружность и телеса – в своем роде *magnifiques*⁴⁵.

– Это так, торс славный. Если б и ум ее был вполовину так роскошен...

– А почему вы знаете, каков у нее ум? Исследуйте наперед. Это по вашей части: исследования, анализ, химия!

– К тому же, – подхватил Ластов, – хотя она и из студентов, но, как кажется, не поставляет себе главной целью помилку жениха. Уж одно это должно бы возвысить ее в твоих глазах.

– Знаем мы этих весталок нового покроя! – отвечал Змеин. – Пока не нашлось обожателя, девушке, конечно, ничего не стоит играть неприступную, а попробуй возгореть к ней бескорыстно благородным огнем, сиречь намекни ей про законные узы, – она тут же бросится в объятия к тебе, как кошка в пламя свечи, с риском даже опалить крылья.

– *Mais, mon cher ami*⁴⁶, вы расстраиваете весь наш план. Как же быть нам, если вы отказываетесь от Лизы?

– Да я, пожалуй, сыграю с нею несколько партий в шахматы, чтобы вы с Ластовым могли утолить первый позыв вашей любовной жажды. Но не пеняйте, если я в случае невозмож-

⁴⁵ прекрасны (*фр.*)

⁴⁶ Но, дорогой мой друг (*фр.*)

ности выдержать, поверну оглобли.

– Можете. Я, со своей стороны, настолько доверяю Лизе, что надеюсь, что она не так-то скоро отпустит вас. Итак, ваш предмет – Лиза? Решено?

– Решено.

– Мой – Наденька, эта также решено. Значит, на твою долю, Ластов, остается одна Моничка, Саломонида, Salome!

– И то хлеб. Ведь ты, Куницын, не воспрещаешь говорить иногда и с твоей красоткой?

– Куда ни шло – можешь.

– И за то спасибо.

– Вы, господа, готовы? – спросил Змеин, перевешивая последние доспехи свои через спинку стула и подлезая под перину.

– Вот уж скоро двадцать лет, – сострил Куницын. Змеин задул свечу.

– Это зачем? – спросил тот. – При свете болтается гораздо веселее.

– То-то вы проболтали бы до зари, а встать надо с петухами. *Buona notte*⁴⁷!

– Кланяйтесь и благодарите, – отвечал, смеясь, правовед, повторяя любимое, как он заметил, выражение Змеина.

Тем временем в другой комнате гостиницы происходил разговор между девицами, почти тождественный с вышеприведенным.

⁴⁷ Хорошей ночи (*ит.*)

Липецкие распорядились о ночлеге своевременно, и им отвели два номера в бельэтаже, в две кровати каждый. Моничка и Наденька просились спать вместе; г-жа Липецкая хотела было отказать, но когда и Лиза ввернула свое доброе слово: «Да дайте же им погулять! Не век же пробудем за границей», – она, сообразив, что и вправду резвухи не дадут ей сомкнуть глаз, если она одну из них возьмет к себе, махнула рукой:

– А Бог с вами! Делайте, что хотите.

– Давно бы так! – сказала Моничка. – Надя, allons!

Они порхнули по коридору в свои новые, неоспоримые владения, притворив плотно дверь к владениям двух старших дам.

– Нам не помешают, и мы не помешаем, – Моничка раскрыла окно и вывесилась за него. – Досадно, что так высоко! – заметила она. – Опять бы повояжировать.

Наденька вспомнила недавнюю интермедию из-за вчерашнего вояжа и надулась.

– А какой же он противный! Слушает, точно агнец, точно ничего и не понимает, а сам только придумывает, как бы поосновательней пристыдить нас.

– Кто? Змеин? Материалист, грубый, неотесанный материалист! Да разве от университетанта можно ожидать чего-нибудь лучшего? Как я его за то и отщелкала! Ты слышала? «Вы, говорю, мальчишка, мы вас презираем, сударь!» Ха, ха!

– Его это, однако, кажется, не очень тронуло.

– Не очень тронуло! В нем нет ни капли врожденного благородства, оттого и не тронуло. Ты думаешь, что истинно образованный человек принял бы так легко мои слова? А с него, как с рыбы вода.

– Как с гуся, хочешь ты сказать.

– Ну, все равно. То ли дело правоведушка! Вот милашка, так милашка! Настоящий *pur sang*⁴⁸, душенька! Так бы взяла, кажется, за оба ушка да и расцеловала тысячу раз!

– Что ж? Попробуй. Он, я думаю, и сам не откажется: и ты ведь милашка, а – *qui se ressemble, s'assemble*⁴⁹. Но я все-таки не понимаю, как можно решиться поцеловать его, правоведа!

– Отчего же нет? Целовать мы, женщины, имеем, я думаю, такое же право, как мужчины. Куницын же более чем кто-либо достоин женских поцелуев: он и *un homme tres gentil*⁵⁰ и *un vrai gentilhomme*⁵¹.

– То есть фат? Ходячая модная картинка?

– Так что ж такое? Ты слишком взыскательна, та *chere*: если человек хорош, то должен и культивировать свою красоту, как культивируют, *par exemple*, какой-нибудь талант. Ты сама говорила, что в прекрасном теле должна заключаться и прекрасная душа.

⁴⁸ Породистый (*фр.*)

⁴⁹ похожи друг на друга (*фр.*)

⁵⁰ человек очень хороший (*фр.*)

⁵¹ истинный джентльмен (*фр.*)

– Моничка, Моничка! Ты, кажется, уже по уши влюблена в него. Это тем грустнее, что он занят не тобой, а мной: и в Интерлакене он следил только за мной, и здесь за чаем относился все более ко мне.

– Как ты воображаешь себе, Наденька! В Интерлакене мы ходили с тобою всегда вместе. Следовательно, нельзя определенно сказать, к которой именно из нас относилось его внимание. Когда он заговорил с нами, то обратился к тебе, может быть, только затем, чтобы замаскировать свои чувства, а сегодня вечером... да вот еще, когда он рассказывал про парижских львиц, то сделал мне комплимент, что я стою любой из них. Потом...

Наденька расхохоталась.

– Ты, моя милая, как Марья Антоновна в *«Ревизоре»*: «И как говорил про Загоскина, так взглянул на меня, и как рассказывал, что играл вист с посланниками, то опять взглянул на меня».

– Ну да! Ты вечно со своими русскими сочинителями. Но мой правовед – человек симпатичный, не то что эти два медведя... По-твоему, пожалуй, этот бледный, долговязый лучше?

– Разумеется, во сто раз лучше.

– Да ведь он глупенький! В продолжение всего вечера сказал какие-нибудь два-три слова.

– Значит, молчалив и хотел наперед разглядеть нас. Помнишь, как любезно принял он нашу сторону в Висбадене за

рулеткой?

– Очень нужно было! Если б он не вмешался, то я потеряла бы этот первый гульден да с тем бы и ушла; а то по его милости спустила все, что имела с собою.

– Ты забываешь, Моничка, что и я проиграла все бывшие при мне деньги, но, как видишь, не сержусь на виновника нашей беды. Чем же виноват он, что мы не могли удержаться от игры? Он поступил только весьма любезно. А что до его наружности, то черты у него правильные, классически-благородные, обхождение хотя не такое ухарское, как у Куницына, зато более натуральное, стало быть, и более приличное.

– Отчего не классически приличное? Я, прочем, очень довольна, что вкусы наши расходятся: не помешаем, значит, друг другу. Вы с Лизой обворожайте своих классиков, я удовольствуюсь *даже* правоведом, хотя он, как ты уверяешь, и пленен уже тобой! Что, сударыня, завидно?

– Ничуть. Наслаждайся им, сколько душе угодно.

– Да? Ты обещаешься не мешать мне?

– Слово гимназистки! – усмехнулась Наденька, поднимая вверх торжественно три пальца.

– *Cela suffit. Une femme d'honneur n'a que sa parol*⁵².

⁵² Этого достаточно. Женщина чести, который держит свои слова (*фр.*)

VI. О комарах и сновидениях

Настало утро. На гисбахской пристани толпился народ. От Бриенца приближался, усердно пыхтя, небольшой пароходик. Наши русские были в числе ожидающих. Пароход ударился о дебаркадер, и толпа повалила на палубу. Русская молодежь уселась на табуретках в тесный кружок.

– Как вы почивали? – обратился к барышням Ластов. – Не помешал ли вам водопад?

Наденька, казалось, совестилась начать разговор и смолчала; Моничка не считала нужным отвечать на вопрос «долговязого университетанта». Ответ остался за Лизой.

– Помешал-таки, – сказала она, – шумит так, что стекла дребезжат. С непривычки трудно заснуть. Более, однако, надоедали комары, и если бы не одна уловка с моей стороны...

– Ваша правда, – подхватил Куницын, – комаров здесь легион. Воевал я с ними, воевал – сил не стало.

– А, так это ты бил так звонко в ладоши? – спросил Ластов. – Я думал: неужто Змеин?

– Нет, я. Да ведь вплоть до зари, бестии, не давали сомкнуть глаз! Кусаются, как собаки. Вероятно, и после кусали, да усталость одолела, заснул. Жужжат у тебя под самым ухом, в темноте их и не разглядишь. С первого-то начала я отмахивался платком, да никакого толку: только отгоню, опущусь на подушки – а они опять тут как тут. Наконец, я

вышел из себя и давай рубить сплеча и правого, и виноватого: поутру весь пол около моей кровати, как поле битвы, был усеян вражескими трупами.

– Вы человек горячий, – сказал Змеин, – и принимаете все к сердцу. Я, со своей стороны, не вижу, чего тут беспокоиться? Пусть пососут маленько: нас от этого не убудет, им же надо чем-нибудь пропитаться. К чему хлеб отнимать. Мое правило: *Leben und leben lassen*⁵³.

– Хорошо вам рассуждать: обросли кругом непроходимым муромским лесом, тут и самому отчаянному комару-разбойнику не проникнуть.

– Ничего, проникали, только я не устаивал внимания. Один из самых бойких запутался даже в моих баках и давай пищать благим матом. Я человек с сердцем и не могу видеть чужих мучений: взял, высвободил осторожно ножки шалуна и пустил его на волю. Потом, в сознании сделанного доброго дела, заснул безмятежно сном праведных.

– Вы, должно быть, большой лимфатик, – заметила теперь Наденька. – Большая часть людей не может вынести писк этих неотвязчивых певунов. Звенит комарик, распевает вокруг тебя где-то в воздухе, все ближе и ближе, вот-вот, кажется, сядет, но нет, отлетает и снова заводит свою задорную серенаду. Это ожидание беды мучительнее самой беды.

– Совершенно справедливо, – подтвердил Ластов. – Но если защититься от них как следует, то можно слушать их

⁵³ Живи и дай жить другим (*нем.*)

довольно хладнокровно. Так я, ложась ввечеру, придвинул к изголовью стул, распустил через ручку его и свою голову плед и обеспечил себя таким образом от дальнейших нападений маленьких надоедал. Дышать было свободно, потому что между изголовьем и стулом оставался еще промежуток, выдыхаемая углекислота опускалась по тяжести к полу и заменялась оттуда немедленно струею чистого воздуха. Комары распевали вокруг моей головы по-прежнему, но проникнуть до меня не имели уже физической возможности. С полным душевным спокойствием внимал я их концерту, слагая из напевов их, то глубокобасистых, то пронзительно-звонких, мелодии штраусовского вальса, пока, убаюканный, не задремал.

– Я распорядилась пообстоятельнее, – сказала Лиза. – У меня обыкновение читать в постели; вчера, когда начали докучать комары, я пошла со свечою в смежную комнату, где почивали Моничка и Наденька, и поставила свечу на пол. Девушки спали, как убитые, потому комары не могли беспокоить их. Когда, по моему расчету, все комары из нашей спальни перелетели к ним, к свету, я задула свечу. Потом вернулась к себе и плотно притворила дверь. Средство оказалось радикальным: в комнате не осталось ни одного комара.

– А мы удивлялись, откуда взялась у нас поутру такая пропасть их и свеча на полу! – воскликнула Моничка.

– Она всегда так, – сказала Наденька. – Вот как искусства

ли – просто ужаси! – прибавила она, разглядывая с комическим отчаяньем свои красивые, полные руки, испещренные до локтей красными пятнами.

– В самом деле, – подхватила Моничка, осматривая и свои руки. – И меня тоже! Я думаю, и на лице есть следы.

– Есть-таки! – засмеялась Наденька. – Но тебе это идет.

– Grand merci! В наши лета можно, кажется, обойтись и без косметических средств. Ты, впрочем, очень-то не радуешься, ангел мой: ты сама в пятнах.

– Ничего, пройдет. Пройдет, господа натуралисты?

– Пройдет, – успокоил Ластов. – Комары принесли вам даже некоторого рода пользу. Не пусти они вам крови, я уверен, вы не выпалились бы так славно, не видали бы таких вещей во сне.

– Каких вещей?

– Да всего того, что молодые девушки любят видеть во сне. Где же нам знать!

– А интересно бы! – подхватил Куницын. – Говорят, что если спишь в первый раз под кровлею дома, то все, что приснится, и сбудется на деле? Mesdames, будьте великодушны, расскажите ваши сегодняшние сны.

– Какой вы любопытный! – кокетливо улыбнулась Моничка. – Если *вы* приснились мне – неужели также рассказывать?

– А то как же? Мы в Швейцарии, в стране откровенности и свободы.

– Вишь вы какой!

– Да вам-то я, пожалуй, и не приснился...

– А, так вы думаете, что приснились одной из других девиц? Поздравляю вас, mesdames! Кому ж-то из вас приснился м-г Куницын?

– Не мне! – поспешила уверить Наденька.

– Мне и подавно нет, – Лиза.

– Вот видите ли, Фома неверующий? А мне вы приснились!

– Так расскажите, как и что. Маленькая брюнетка лукаво засмеялась.

– Я думаю, лучше не рассказывать.

– Почему же нет?

– Вероятно, ты предстал не в очень лестном для тебя свете, – предположил Ластов.

– Cela ne fait rien: d'une demoiselle tout est лестно. Racontez, m-lle, je vous en prie.⁵⁴

– Eh bien, m-r, si vous l'exigez infailliblement...⁵⁵.

Фантазия у Монички оказалась довольно бойкая.

Не задумываясь, она тут же сложила целый волшебный сон.

Ей снилась, рассказывала она, тенистая роща при серебристом мерцании луны. Под прохладным навесом деревьев, на

⁵⁴ Это не имеет значения: даме всё лестно. Скажите мадемуазель, пожалуйста (фр.)

⁵⁵ Хорошо, м-р, если вы настаиваете (фр.)

бархатной мураве, пляшет группа нимф, облеченных в воздушные, коротенькие платьица, наподобие балетных танцовщиц. Является молодой, прекрасный рыцарь с зеленым, стоячим воротником, в треуголке, и спящая узнает в нем – m-г Куницына. Хоровод нимф окружает его и в звучных песнях упрекает его в неверности: «И на мне обещался жениться, и на мне, и на мне!» Рыцарь в смущении клянется, что со всем бы удовольствием женился на любой из них, но как многоженство в благоустроенном государстве нетерпимо, то он, достойный сын богини правосудия, не желает обидеть ни одной из них и лучше отрекается от всей честной компании; говоря так, он пытается улизнуть. Девы с криком удерживают его за фалды и увлекают с собою. «К Пифии, к великой жрице! – вопиют они. – Она разрешит сомнение, кому из нас владеть коварным изменником». Над пещерой, из которой валит густой, смрадный дым, восседает на треножнике, в облаках дыма, древняя, поросшая мхом старушонка. Рыцарь грациозно падает ниц. По странное дело! Вглядываясь пристальнее в черты жрицы, спящая узнает в ней – также m-г Куницына. Значит, двое m-гс Куницыных: и судья, и подсудимый. Судья собирается только что изречь роковой приговор над своим двойником, как вдруг Гисбах, Бог весть откуда взявшийся, низвергается с высоты с глухим, ошеломительным ревом и заливаает собою и Пифию, и рыцаря, и обиженных дев. Буря понемногу улегается, из-за туч выплывает ясный месяц и на зеркалом вод начинают порхать чайки.

Картина вроде последней в «Корсаре». Вот вынырнула голова, вот другая, третья, десятая. Это души утопших, но преобразенные: они в тех же коротеньких, газовых платьях, но лица их – фотографические снимки с облика м-г Куницына: они умерли любя и потому в смерти приняли образ возлюбленного. Апофеоза: весь хор новорожденных м-rs Куницыных выходит на берег и, отряхнувшись от воды, затевает кадрили дивную, достойную первых львиц мабиля. Месяц, принявший на радостях также образ м-г Куницына, спустился на землю и, умильно ухмыляясь, любит из-за кустов трогательной сценой.

– Un songe remarquable⁵⁶... – промолвил недоверчиво правовед, когда Моничка окончила свой рассказ. – Et vous l'avez effectivement vu⁵⁷?

– Eh sans doute⁵⁸! – смеялась в ответ новая Шехеразада. – Кто из вас mesdames и messieurs, разрешит его?

– Наденька разрешит, – сказала Лиза, – она вечно воображает себя героиней какого-нибудь романа и одно время, когда считала себя Татьяной Пушкина, обзавелась даже гадательной книгой, чуть ли не Мартыном Задекой. Поверите ли: восемь раз перечла «Онегина»!

– Совсем не восемь! – возразила обиженная гимназистка.

– А сколько же?

⁵⁶ Замечательный сон (фр.)

⁵⁷ А вы на самом деле его видели (фр.)

⁵⁸ Ну, вероятно (фр.)

– Семь.

– Да, это, конечно, меньше. Она у меня олицетворенная поэзия, сама даже оседлывает Пегаса, и еще вчера...

– Ну, что это, Лиза? Какая ты болтушка! Никогда тебе больше не буду показывать!

– Вы с Ластовым, значит, одного поля ягоды, – сказал Змеин. – Он тоже вчера еще прочел мне пьеску, в которой есть и «грезы», и «слезы», и «созвучие сердец».

Наденька встрепенулась.

– Ах, Лев Ильич, прочтите ее нам!

– С условием, чтобы и вы прочли свою.

– Ни за что в мире!

– Mlle Nadine, – вмешался Куницын, – оставьте на минуту поэзию и помогите нам разрешить сон вашей кузины.

– Нет, нет, Лиза пошутила. Кто из нас здесь старше? Тот пусть и разрешит.

– Старше всех, кажется, m-г Змеин. За ним, значит, и очередь.

– Разрешить значение сна, – сказал Змеин, – я не берусь, потому что всякие сны – неразрешимая чепуха, но почему именно вы, г-н Куницын, приснились Саломониде Алексеевне, могу объяснить.

– Да это все равно. Объясняйте.

– Вы, Саломонида Алексеевна, вероятно, поужинали вчера довольно плотно?

– Не скажу. Чашки две чаю, бутербродов с медом – штуки

три, да жаркого и сыру ломтика по три.

– Гм, недурно. По-вашему это мало? На ночь вообще много есть не годится. Мне, однако, помнится, что, после чаю, вы покушали и земляники?

– Ах да, про нее я забыла. Земляники я, в самом деле, съела изрядную порцию. Он, здесь такая сочная, и сливки к ней были такие чудные, густые-прегустые...

– Вот, видите... Оказывается, вы легли с переполненным желудком. Желудок в переполненном состоянии производит давление на окружающие кровеносные сосуды. Кровь, не имея возможности идти к нижним конечностям, гонится в *arteriae carotes*, в голову, оттого и грезы.

Моничка, видимо, разочарованная таким прозаическим объяснением натуралиста, с неудовольствием отвернулась.

– А целый вечер, – подхватила экс-студентка, – благодаря красноречию г-на Куницына, ты не видела и не слышала ничего, кроме него. Понятно, что и присниться тебе должен был он.

– Но я, хоть и слышала целый вечер одного m-г Куницына, – необдуманно брякнула Наденька, – а видела во сне не его...

– Кого же? – усмехнулась старшая сестра. Гимназистка заметила тут свою наивность и, не зная, как поправиться, зарделась.

Между тем пароход, загнув в голубую Аар, приближался к интерлакенской пристани. Шипя и качаясь, причалил он к

берегу, и все засуетилось около мостика, переброшенного с пристани.

VII. Две кокетливые альпийские девы

Отель R., в котором остановились Липецкие и Куницын, в котором искали теперь пристанища и наши натуралисты, принадлежит к интерлакенским гостиницам, наиболее посещаемым сезонными гостями, так что хотя при ней и имеется несколько второстепенных строений и по сю, и по ту сторону дороги, однако, в описываемый нами день оказалась в ней свободною одна лишь комната, которою друзья и решились удовольствоваться на первое время, но в которой они оставались и до самого отъезда из Интерлакена.

Ластов отправился на противоположный берег Аар, на почту узнать, не пришло ли из России писем, да, кстати, захватить чемоданы, свой и Змеина, пересланные ими сюда уже из Базеля. Писем не оказалось. Взвалив чемоданы на плечи первому попавшемуся ему на углу носильщику, поэт вернулся в отель, не давая себе еще времени осмотреть хорошенько окружающий мир. Дома они с товарищем занялись разборкою своего имущества, вывалив его предварительно в живописном беспорядке на кровать и диван.

Скрипнула дверь, и на пороге показалась молодая горничная с огромным фолиантом под мышкой.

– Извините, если я обеспокою господ, – проговорила она

по-немецки на твердом, характерном диалекте детей Альп. – У нас уже такое заведение, чтобы приезжие вписывались в общую книгу.

– Отличное заведение, красавица моя, – отвечал Ластов, с удовольствием разглядывая девушку.

Полная, прекрасно сложенная, имела она глаза большие, бархатно-черные; на здоровых, румяных щеках восхитительные ямочки, нос слегка вздернутый, но тем самым придававший всему лицу выражение милого лукавства. Одета она была в национальный бернский костюм, с пышными белыми рукавами, с серебряными цепочками на спине.

– Вот чернила и перо, – сказала она, перенося с комода на стол письменный прибор и раскрывая книгу. – Не угодно ли?

Ластов укладывал в комод белье.

– Распишись ты, Змеин, – сказал он, – я после.

Тот взял перо, обмакнул его и заглянул в книгу.

– Эге! Правовед-то твой как расписался: «Sergius von Kunizin, Advocat aus St.-Petersburg». После этого нам с тобою, естественно, нельзя назваться проще, как «Naturforscher»⁵⁹ с тремя восклицательными знаками.

Сказано – сделано.

К столу подошел Ластов, наклонился над книгой и усмехнулся. Зачеркнув в писании друга слово «Naturforscher», он надписал сверху: «Naturfuscher»⁶⁰, и сам расчеркнулся сни-

⁵⁹ Натуралист (нем.)

⁶⁰ Разрушитель природы (нем.)

зу: «Leo Lastow, dito».

– Naturfuscher? – спросила с сдержанным смехом швейцарка, глядевшая через его плечо.

– Да, голубушка моя, Naturfuscher. Мы портим природу по мере сил, затем ведь и в Швейцарию к вам пожаловали.

– Как же это вы портите природу?

– А разрушаем скалы, режем животных, срываем безжалостно душистые цветочки, ловим блестящих насекомых; беда душистым цветам и блестящим насекомым! И вас я предостерегаю. Уничтожать – наша профессия, и самое великое – ну, что выше ваших Альп, воздымающихся гордо в самые облака – и те трепещут нас: дерзко пожираем мы их... глазами и вызываем яркий румянец на белоснежных ланитах их. А вы как объясняли себе вечернее сияние Альп?

– Да, кажется, ваша правда, – отвечала девушка, невольно покрасневшая под неотвязчивым взором молодого Naturfuscher'a, – вот и я покраснел; вероятно, от того же.

Ластов наклонился над чемоданом.

– Не краснейте: я не буду смотреть. Кстати или, вернее, не кстати: в котором часу у вас обедают? Я, как волк, проголодался.

– Обедают? В два. Но я попросила бы вас, господа, сойти в сад: там вы найдете других русских; я тем временем и вещи ваши прибрала бы.

– Чтобы вам потом не раскаяться, – предостерег Ластов, – товаров у нас гибель.

– Вы очень милы, tamsel, – вмешался тут Змеин. – У меня уж и в пояснице заломило. Белье вы уложите вон в этот ящик, гребенку и щетку отнесите на комод... Да вам, я думаю, нечего объяснять: немки насчет порядка собаку съели. Я вам за то и ручку поцелую – если, само собою разумеется, вам это доставит удовольствие, ибо, что касается специально меня, то я лишь в крайних случаях решаюсь на подобные любезности.

– А я в губки поцелую, – подхватил в том же тоне Ластов, – если, само собою разумеется, вам это доставит удовольствие, в чем, впрочем, ничуть не сомневаюсь, ибо сам записной охотник до подобного времяпрепровождения.

– Прошу, сударь, без личностей, – с достоинством отвечала молодая швейцарка, – не то уйду.

– Ой-ой, не казните, велите миловать.

– Ну, так ступайте вон, я уже уложу все куда следует.

– Да как же величать вас, милая недотрога? Вероятно, Дианой?

– Marie.

– Прелестно! На Руси у нас, правда, зовут так обыкновенно кошек: «Кс, кс, Машка, Машка!» Но кто вас знает, может быть, и вы маленькая кошечка?.. Знаете, я буду называть вас Mariechen. Можно? Опять насупились! Не гневитесь, о грозная дева! Мы идем, идем. Змеин, живей, как раз еще в угол, поставят.

Уходя, Ластов хотел ухватить швейцарку за подбородок,

но та увернулась и стала серьезно в стороне. Смеясь, молодые люди спустились с лестницы и пошли бродить по Интерлакену.

Интерлакен – не то город, не то деревня. Несколько грациозных отелей, или, как их здесь называют, *пансионов*, несколько небольших обывательских домиков, также приспособленных к принятию «пансионеров», – вот и весь Интерлакен. Отели, окруженные цветущими садами, почти все расположены по правой стороне главной аллеи (если ехать от Бриенца); за ними бежит быстрая, бирюзовая Аар, а непосредственно за Аар возвышаются Гобюль (Hohbuhl) и крутизны Гардера. По левую руку тянется ряд вековых лиственных деревьев дубов, ясеней, лип – и невысокая каменная ограда, за которую расстилаются тучные нивы, ограничиваемые вдали синевато-зелеными горами: Брейтлауененом, Зулekom, Абендбергом и Ругенами, большим и малым. В промежутке между двумя первыми гордо воздымается неприступная, прекрасная царица бернских Альп – Юнгфрау, покрытая вечными снегами, от которых по всему ландшафту разливается какое-то чудно-светлое сияние. Особенно хороша она в солнечный полдень, когда чистое, белое тело ее, ничем не прикрытое, тихо млеет и искрится под горячими лучами светила, и только там и сям игривое облачко легкой кисеи скользит по изящному склону плеч. Но едва ли не лучше еще она часу в восьмом вечера, когда заходящее солнце окрашивает бледные красы ее теплым румянцем, и вся она

как бы одушевляется, оживает. Смотрите вы, смотрите, любуетесь без конца. Нагляделись наконец, пошли своей дорогой – и опять оглядываетесь и, как прикованные к месту, начинаете вновь любоваться – такую неодолимую притягательную силу оказывает на смертных неземная дева гор. Своей нравная, однако, как всякая дева, она, если не захочет показаться вам, то и не покажется, напрасно вы станете и искать ее: с вечера, плутовка, задернет перед собою ночной полог так и скрывается до утра; глядите, сколько угодно, в направлении к ней, надеясь высмотреть хоть очерк тела, – ничего не увидите, как только прозрачный горизонт, слегка задернутый беловатой дымкой. Вы никак не можете сообразить, что на этом самом месте видели вчера целую снежную гору, и начинаете мучиться сомнением, не исчезла ли она и точно... А тут выглянуло солнце, рассеялся полог ночных туманов – и пышные, яркие плечи девы обнажаются перед вами во всей своей девственной красе. И мужчины, и женщины с одинаковым удовольствием любят ее: мужчин пленяет она, как красавица, не докучающая пустой болтовней и не обижающаяся, если по часам и не заниматься ею; женщин – как прелестное создание, к которому, однако, нет повода ревновать. Неудивительно, что Интерлакен, пользующийся соседством такого очаровательного существа, сделался любимым местопребыванием туристов. Отсюда предпринимаются экскурсии в романтические окрестности; здесь отдыхают на воле от этих экскурсий, нередко довольно утомитель-

ных. Игорного дома в Интерлакене нет, общественных балов не дается; вся жизнь сложилась на патриархальный, деревенский лад: знакомства заключаются весьма легко, так как всякий знает, что, по выезде отсюда, вероятно, уже никогда не встретится с здешними знакомыми; спать ложатся часу в десятом, потому что многие собираются спозаранку на экскурсии; а физиономии, даже поутру свежие и веселые, не наводят уныния, подобно измятым лицам горожан.

А как хороши в Интерлакене вечера! Смеркнется; в воздухе, напоенном теплою, благоухающею сыростью, тихо, неподвижно-тихо; развесистые деревья, не шевеля ни листом, как бы притая дыхание, сплелись в вышине густым шатром. Темно, так темно, что не будь освещенных окон отелей, из которых льется трепетный полусвет, в аллее ничего нельзя было бы разглядеть, так как уличных фонарей в Интерлакене не полагается. Но сумраком еще увеличивается уютность вечера. Болтая, хохоча, прохаживаются взад и вперед праздные толпы, останавливаясь группами то там, то здесь, послушать тирольцев или странствующих музыкантов, упражняющихся среди кучки туземцев в национальных нарядах то перед тем, то перед другим отелем. Уставшие бродить располагаются у входа кондитерской, где выставлено несколько плетеных столиков и стульев, и велят подать себе, по желанию, мороженого, шоколаду, грогу.

Первый день пребывания друзей-натуралистов в Интерлакене прошел для них решительно незаметно.

В садик пансиона *R.* выходит небольшой, двухэтажный флигель. Одна из комнат в нижнем этаже носит название *садовой*, *Gartenzimmer*, и служит местом собрания пансионеров в свободное от еды и прогулок время. Есть в ней фортепьяно, есть диваны по стенам и полка книг (по преимуществу французских романов), есть на окнах горшки с цветами, заслоняющими своей густою зеленью даже наружный свет, отчего в комнате царствует и в светлый полдень отрадный полусумрак. Над входом в *Gartenzimmer* распустился навес, весь из зелени: на железных, вертикальных прутьях, обвитых широколиственным ползучим растением, покоится железный же скелет крыши, скрытый в сочно-зеленый полог того же растения.

Под этим-то навесом, в ожидании послеобеденного вожделенного аравийского напитка, сразились впервые на шахматном поле Змеин и Лиза. Первый убедился вскоре, что имеет дело с достойным противником. Куницын собрал около себя целую компанию слушателей, в том числе и двух наших героинь, в *Gartenzimmer*; с талантом и вкусом сыграл он на фортепьяно несколько блестящих салонных пьес. Ластов уселся в одной из садовых беседок рисовать интерлакенский монастырь.

Настал вечер. Началось обычное фланирование по главной алее; а тут уже и десятый час, законное время к отдохновению от тяжких дневных трудов.

Когда Ластов проходил коридором в свою комнату, мимо

него прошелестело женское платье. Он оглянулся и узнал, при свете лампы, Мари, молоденькую горничную, взявшуюся поутру прибрать их вещи. Он назвал ее по имени, она остановилась.

– Чего прикажете?

– Мне хотелось бы поболтать с вами, Мари.

– Мне некогда.

– Ну вот! Для меня найдется минутка. Я должен откровенно сказать вам, что немножко уже влюблен в вас, вы и не воображаете, как вы милы!

– К чему эти плоские комплименты, которым и поверить-то нельзя. Придумали бы хоть что поостроумнее.

– Да? Ну, так подайте же ручку.

– Это к чему?

– Подайте, говорю я вам: будет остроумнее.

– Извольте – если уж необходимо нужно. Схватив невинно протянутую к нему руку, Ластов поднес ее к губам.

– Ай, – вскрикнула Мари, отдергивая ее с быстротою, и продолжала, понизив голос: – Как же это можно, сударь! Они у меня такие грубые от работы...

– А губки у вас негрубые от работы?

И молодой Дон Жуан наклонился к ней, чтобы удостовериться в спрашиваемом. Девушка отскочила и ретировалась на лестницу:

– Gute Nacht, Herr Naturfuscher!⁶¹

⁶¹ Спокойной ночи, г-н Naturfuscher (нем.)

Утро глядело уже светло и жарко в обитель Naturfischer'ов, когда проснулся один из них – Ластов. Он вскочил с постели, протер глаза, взглянул на часы, лежавшие на столе и показывавшие 8, и подошел к окну; целую ночь оно оставалось настезь, и жгучие поцелуи солнца обдавали теперь поэта попеременно со свежими струями утренней прохлады. Окно выходило на Юнгфрау, и, очарованный дивной картиной, юный сын Аполлона провел некоторое время в безмолвном созерцании ее.

– Змеин, – проговорил он наконец, – вставай, посмотри, что за душка.

Приятель пробудился, потянулся и приподнялся на локоть.

– Душка? Уж не ты ли? Хорош, нечего сказать, decolte, как наши девы.

– Какие девы?

– Да, я и забыл, что обещался не рассказывать.

– Нет, – сказал Ластов, – я говорил не про себя, а про настоящую душку, про Юнгфрау, прелестную деву гор.

– Однако у тебя жажда любви действительно неодолима: даже в гору влюбился, потому единственно, что она «Jungfrau». Ты, конечно, написал ей уже и хвалебный гимн?

– Нет, не успел еще. Как оденусь, не премину. Однако и тебе, брат, пора вставать; народы, я думаю, стекаются уже к кофею.

Полчаса спустя друзья сходили в столовую. Здесь заста-

ли они одну Лизу: она лечилась сыворотками и вставляла аккуратно в шесть часов; выпив в кургаузе свою порцию всецелебных Molken, она прогуливалась, согласно предописанию доктора, часов до восьми и долее. Перебросившись с нею двумя-тремя незначащими фразами, молодые люди, отпив кофе, вышли на улицу. У ограды восседала продавщица черешен, столь же сочная и розовая, как плоды в корзине у нее. За полфранка отсыпала она друзьям в шляпы по груде спелых черешен, и, отягощенные этим, в полном значении слова сладким бременем, вернулись они восвояси.

Комнатка их была уже убрана. На столе красовался в стакане воды букет рододендронов, иначе – альпийских роз.

Змеин взял книгу и устроился на диване. Ластов сел к раскрытому окну, писать, вероятно, хвалебный гимн неземной деве. Иногда один из друзей делает другому теоретический вопрос, тот ответит – и снова воцарится молчание, прерываемое лишь скрипом пера или жужжанием нечаянно влетевшей в окошко пчелы. Пишет Ластов, пишет, вдруг задумается, возьмет не сколько черешен из лежащей на соседнем стуле кучки их, вложит их глубокомысленно в рот, склонится головою на руку и глядит долго-долго, в сладостной рассеянности, на отдаленную горную красавицу. Из сада вносятся в окошко теплым ветерком благовония акаций, левкоев, роз – больше же роз, которыми так изобилует хорошенький садик пансиона. Гардины над головою поэта чуть колышутся, а штора то надуется парусом, то опустится в бессилии, не смея

шевельнуть ни складкой.

Около полудня растворилась дверь; в комнату глянуло приветливое личико Мари.

– Господ приглашают к прогулке, – объявила она.

– Приглашают? – повторил рассеянно поэт. – Кто приглашает?

– Барышни – Липецкие.

Ластов повернулся на стуле к товарищу.

– Слышал, брат?

– Что? – очнулся тот.

– Предметы наши стосковались по нас.

– Очень рад. Не мешай, пожалуйста.

– Да ведь нас зовут, пойдем.

– Иди, если хочешь. Я на самом интересном месте; нельзя же бросить.

– Вот тут-то и следует бросить: все время, пока не раскроешь опять книги, ты будешь в приятном ожидании, а как возьмешься читать, так сразу начнешь с интересного места.

Двойная выгода.

– Резонно. Иди же, я сейчас буду, дочесть только главу.

– Знаем мы вас! Уж лучше обожду.

Ластов с веселой улыбкой обернулся к посланнице, дождавшейся еще у дверей ответа.

– Что ж вы не взойдете, Мари? Мы вас не съедим.

– Кто вас знает, Naturfuschel'ов-то? Может, и съедите.

– Не бойтесь, не трону, мне надо сказать вам...

– Ну да, как вечер!..

Девушка, однако, сделала два коротеньких шага комнату.

– Что вам угодно?

– Прежде всего – здравствуйте! Ведь мы с вами еще не здоровались.

Мари Засмеялась.

– Здравствуйте-с.

– Это *вы* принесли нам альпийских роз?

– Каких альпийских роз?

– Да вон, на столе.

– Н-нет, не я.

– Кто же убирал нашу келью?

– Я.

– Так цветы, должно быть, сами влетели в окошко? Мари опять засмеялась.

– Должно быть! Да если бы и я принесла их, что ж за беда?

– Беды бы тут никакой не было, я почел бы только своим долгом расцеловать вас.

– Вот еще! – надула она губки.

– А вы что думали?

– У вас в России, видно, поцелуи ни по чем.

– А у вас они продаются? Нет, мы русские, на этот счет, как и вообще на всякий счет, народ щедрый, особенно с такими красавицами, как вы. Да ведь и милый же ваш целует вас без разбора, когда придется.

– Какой милый? У меня нет милого.

– Ну вот! А с кем вы шушукались вечер у барьера, против «Hotel des Alpes»?

– То была не я, ей-Богу, не я, мало ли здесь девушек. Я слишком дорожу собою, чтобы позволять себе подобные поступки.

– Да как же? На голове у вас был еще голубой платочек, нашее пунцовый шарф, – продолжал сочинять поэт. – Неправда, что ли?

– Ха, ха! Платка я и в жизнь не ношу, а шарф у меня хоть и есть, да не пунцовый, а оранжевый.

– Пунцовый ли, оранжевый – все одно, в потемках все кошки серы. Не запирайтесь! Я догадываюсь, от кого вы научились скрытничать.

– От кого-с?

– От Лотты в «Вертере». Ведь вы читали «Вертера»? Мари важно кивнула головой:

– Еще бы!

– А ведь она была прехитрая, точно вы, – продолжал Ластов, – любит в душе Вертера, а все удерживается, не выдает себя, в финале только растрогалась.

– Уж эта мне Лотта! – перебила с сердцем молодая швейцарка. – Не понимаю, что хорошего находят в ней мужчины? Всякая другая на ее месте была бы без ума от Вертера, а она – как дерево, как лед.

– Ага, так вы из таких! По-вашему, пример Вертера достоин подражания?

– Я думаю. Таких, как Вертер, нынче и с фонарем не отыщешь.

– Гм, да, и я полагаю, что такой нюни нынче и с фонарем не отыщешь. В сущности ведь он малый даровитый, неглупый, мог бы приносить еще пользу человечеству, а чем занимается? Носится с нелепейшею страстью к чужой жене, и хоть бы пытался подавить это чувство, а то нет! Находит еще какое-то тайное удовольствие в растравлении своих сердечных ран, как доктор, следящий с сладостным трепетом за ходом заразной болезни, или как нищий, показывающий вам на улице свои отвратительные язвы, чтобы возбудить этим ваше сострадание. «Если не дашь ничего, так хоть похнычь для компании». Нечего сказать, пример достойный подражания.

– У всякого свой взгляд, господин Ластов.

– А вы знаете, как меня зовут?

– Как же не знать, когда при мне же расписались: «Leo Lastow dito».

– Могли бы забыть.

Девушка, ничего не отвечая, потупилась.

– Я готов, – объявил тут Змеин, приподнимаясь с дивана. Он подошел к столу, оторвал уголок от хвалебного гимна поэта, заложил им книгу и опустил последнюю в карман. – Идем.

– Идем. Мы с вами, Мари, поратуем ее из-за Вертера.

– Дай Бог вам успеха! Потому что надежды на успех для

вас очень мало-с.

И она выпорхнула из комнаты.

VIII. Корпорант, янки и эмансипированная

Внизу дожидалось наших друзей целое общество. Знакомства, как выше замечено, заключаются в Интерлакене необычайно скоро; неудивительно, что настоящее общество состояло из людей, познакомившихся только на днях или даже сегодня. Каждая страна прислала сюда своего представителя: были тут наши русские и немец студент из Дерпта; были коренные немцы из Гамбурга, из Франкфурта; была молодая чета парижан, проводившая, по издревле принятому обычаю, медовый месяц в путешествии по чужим краям; был, наконец, и кровный янки из американского запада. Для полноты коллекции недоставало только, англичанина; но англичанин в Интерлакене, более чем где-либо, светоненавистничает и дичится общества. Есть в Интерлакене даже привилегированные отели, обитаемые исключительно белокуруми сынами Альбиона; но там, говорят, такая тоска, что хоть вон беги:

– Торжественно безмолвно совершается обед, торжественно безмолвно – утренний и вечерний чай (впрочем, некоторые пьют и кофе или джин); если околеешь не от хандры, так от голода, ибо в обществе этих баснословных кавалеров спеси и сплина всякий аппетит уходит к черту, – расска-

зывал вышеупомянутый дерптский студент, имевший несчастье поселиться сначала в Hotel Jungfrau, одном из этих привилегированных отелей.

Руина Уншпуннен, к которой потянулся наш караван, лежит в трех четвертях часа ходьбы от Интерлакена и есть одно из самых, так сказать, казенных мест прогулок интерлакенских пансионеров. Дорожка к ней пролегает сначала между палисадниками хорошеньких обывательских домиков, потом по ореховой аллее и, обогнув малый Руген, ступает в сосновый лес.

Брони, дерптский корпорант, в цветной корпоративной фуражке, занимал общество рассказом о своем подвиге на Риги. Эпитет «*fabelhaft*» – «баснословно» употреблялся им, по обыкновению дерптцев, после каждого второго слова.

– И вот, подают мне счет. Читаю и морщусь: цены баснословные! Вдруг – стой, батюшка, это что? «*Bougies – deux francs*»⁶². Теку к хозяину. «Объясните, мол, за что, про что? Лег я впотьмах и не зажигал свечей». – «Да это, говорит, все единственно: зажжете ли, нет ли, дело вкуса; мы не смеем стеснять гостей; но плата для всех одна». Я пожал плечами. Что с ним поделаешь? Закон такой поставил; ну, а со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Я расплатился. Но постой, голубчик, так-то ты! Свечи, значит, мое благоприобретенное достояние; не оставляю же их тебе. Возвращаюсь в свой номер, вынимаю их из подсвечников и в кар-

⁶² Свечи – два франка (*фр.*)

ман. В коридоре вырастает передо мною, как лист перед травой, гаускнехт. «Я, дескать, такой-сякой; не изволите ли сообщить, что за труды?». – «За какие, говорю, труды? Я заплатил хозяину счет сполна, в том числе и за прислугу.» – «Да, мы, говорит, с портье не входим в число прислуги. Соблаговолите же...» – «Но опять-таки за что?» – «За чистку башмаков». – «А, за чистку башмаков?». Я подношу к физиономии молодчика ногу с баснословно пыльным башмаком, которого явно не касалась щетка. «Соблаговолите взглянуть, так-то у вас чистят?» Парень мой замялся. «Вы их не выставили за дверь, а войти к вам я не посмел, чтобы не обеспокоить...» – «Так за что же награждать вас?» – «Да у нас уже так заведено». – «А, да! Закон опять такой поставлен? Так бы и сказали. Что ж, будет с вас одного франка?» Гаускнехт просиял; он не ожидал столь баснословной щедрости. «О, да!» – воскликнул он, ослабляясь. Я извлекаю из кармана свечу и подаю ему: «Примите, мой милый: она стоит франк; можете справиться у хозяина». Машинально взял он в руки свечу, баснословно вытаращил на меня зрачки и так и остолбенел с открытым ртом. Не имея боле надобности оставаться, я направился к выходу. Тут дожидался портье; но он был свидетелем предыдущей сцены, и, не нуждаясь, вероятно, в освещении, дал мне уже свободный пропуск.

– Ну, а другую свечу куда вы дели? – спросил, смеясь, один из слушателей. – Вероятно, с собой везете, как реликвию, и, домой воротившись, стеклянным колпаком накрое-

те?

– То-то, что нет. Теперь жаль. Я отдал ее тут же мальчику, который нес мою поклажу. Он баснословно обрадовался подарку и обещался снести домой матери.

– Вы русский? – спрашивал между тем американец Змеина.

– Русский.

– Догадались-таки вы наконец освободить своих рабов. Наши южане и по сю пору не уразумели истины, что с людьми нельзя обращаться, как с вещью, как с неразумным скотом.

– Позвольте вам заметить, – сказал Змеин, – что ваши рабы и в самом деле не люди.

– Как так?

– Они составляют переходное состояние от обезьян к людям. Лучшее тому доказательство их череп, который несравненно площе нашего. Негр никогда не может достигнуть одного развития с белым.

– Будто? А Туссён-Лувертиур?

– Туссен – исключение, не всякий и у нас Гумбольдт, Гете. Да и чем же необыкновенным отличился Туссен? Он был хорошим полководцем, и только.

– Так, по-вашему, плантаторы совершенно правы, обращаясь с неграми, как с животными?

– Все в мире относительно: со своей точки зрения они правы. Только толстокожее, коренастое племя чернокожих

способно, без ущерба для своего здоровья, нести нечеловеческие плантационные работы, под знойным солнцем юга. Да и нужно же что-нибудь делать неграм? Для головной работы они слишком тупы, так пусть работают хоть телесно, доставляют человечеству почтенные запасы греющего хлопка.

– Ну, и пусть работают, но зачем же из-под палки? Освободите их – и они будут работать по-прежнему, только добровольно, для дневного пропитания.

– Вы думаете? Как же вы мало знаете чернокожих. Ведь они страсть ленивы.

– Это верно.

– Они рады скорее умереть с голода, чем добывать кусок хлеба вольным трудом. Только авторитет господской палки подвигал их до сих пор на труд.

– Александр Александрович! – воскликнула с изумлением Лиза. – Неужели вы такой консерватор, что стоите за рабство?

– Я, Лизавета Николавна, приводил только взгляд южан. По-моему, негров все-таки следует освободить. Понятно, что и негры разовьются со временем, если дать им на то возможность. Мы же, белые, как существа высшие, должны способствовать их развитию, освобождая их прежде всего от телесного гнета, с которым так неразрывно связан и гнет моральный. Пусть оттого цветущие плантации южан в начале даже заглохнут – плантаторы станут изоощрять свой ум для

изобретения мертвых машин взамен прежних, одушевленных, и по всему вероятно изобретут.

– Messieurs! – возвала тут Моничка к Куницыну и Ластову, внимавшим, подобно другим, предыдущему спору. – Sauvez nous de cette trombe sauvage de radotage savante d'un savant sauvage sur des sauvages savants!⁶³

– Vous n'avez que d'ordonner, m-Ile⁶⁴, – отвечал правовед и, шепнув Ластову на ухо: – Помни наш уговор, – обратился к Наденьке.

Поэт не замедлил приблизиться к Моничке.

– Не посещали ли вы, подобно старшей кухне вашей, университетских лекций? – начал он вопросом.

Барышня насмешливо взглянула на него.

– Как же, раз Лиза уговорила меня пойти с нею. Читал знаменитый ваш Костомаров.

– Ну, и что ж?

– Так веселилась, что и сказать нельзя.

– В самом деле?

– Да, чуть не заснула.

– А! Что ж он, плохо читал?

– Не берусь судить. Должно быть, по-вашему, не очень плохо, потому что ему аплодировали. Одной шикать не пришлось, но скука, mon Dieu, что за скука! Рассказывал он про древних русских, кажется, про новгородцев; ну, сами

⁶³ Спаси нас от этого дикого вихря бредового учения для ученых дикарей (*фр.*)

⁶⁴ Вы не склонны к порядку, мадемуазель (*фр.*)

посудите, что мне в древних новгородцах? C'est plus, que ridicule⁶⁵! Если очень уж понадобятся, то чего же проще – справиться в тоненьком Устрялове? А то сидеть битый час в душной, жаркой зале, не сметь пошевелиться, comme un automate⁶⁶, поневоле раззеваешься. Ха, ха! Жаль, право, то не заснула! Душка Костомаров, я думаю, был бы в восхищении от магического действия своих лекций. Прекрасное заведение для людей, страдающих бессонницей. Если не будет у меня сна, то можете быть уверены, не забуду вашего университета; до тех же пор к вам ни ногой.

Ластов слушал ее с улыбкой.

– А скажите, пожалуйста, другие слушательницы так же засыпали под снотворным обаянием лекции?

– То-то, что нет. Это меня и удивило. Одни сидели как вкопанные, с разинутыми ртами, точно проглотить хотели профессора; другие даже записывали! Я не иначе могла объяснить себе такую пассивность, как долгой привычкой: ведь и люди, нюхающие табак, не чихают более от него. Что меня, однако, более всего шокировало у вас, так это то... Не знаю, говорить ли?

– Говорите; вы ведь эмансипированная, если не ошибаюсь?

– Да... Так, видите ли, мне было и странно, и досадно, что студенты ни малейшего внимания на девиц не обращают,

⁶⁵ Это больше, чем смешно (*фр.*)

⁶⁶ Как автомат (*фр.*)

точно их там и нет.

– Да мы этим гордимся! – возразил с некоторою горячностью Ластов. – Чтобы девицы ничуть не были стеснены в своих занятиях, мы нарочно их не замечаем.

– Как вы, милостивый государь, смешно рассуждаете. Если девица удостаивает ваши лекции своим посещением, то первый долг ваш, я думаю, как *galants cavaliers*, показывать, по крайней мере, глубокое внимание.

– Вот как! Вы, Саломонида Алексеевна, хотите, видно, сделать из университета нечто вроде Летнего сада с его майским парадом невест? Покорно благодарим за незаслуженную честь! Если девушка жаждет просвещения – мы не помеха ей, пусть посещает наши лекции – но и только.

– Очень нужно нам ваше просвещение! Истинное просвещение заключается не в том, чтобы знать, когда жили древние новгородцы, как назвать по имени и фамилии всякую букашку; это дело особой касты чернорабочих – касты ученых. Да, господа университетские, вы – черный народ. Истинно просвещенный пользуется вашими открытиями, пользуется железными дорогами, телеграфами и т. д., но сам не стает марать себе рук унижительным трудом.

– Никакой труд не унижителен, – отвечал Ластов, – менее всего умственный. Это уже до того общепризнано, столько раз повторено, что отзывается даже общим местом. Так, по-вашему, истинно просвещенные те, которые сидят сложа руки, жар чужими руками загребают, то есть паразиты? Бра-

во!

– Вы не дали досказать мне! Эмансипация прекрасного пола – вот что главным образом характеризует истинное просвещение. Свобода во всем. Прежде, бывало, ни за что не дадут в руки девиц Поль де Кока...

– А вам дают? Моничка расхохоталась.

– Qu'il est naïf⁶⁷! Я сама беру его. Отчего же и не читать Поль де Кока? Вслух прочитывать, конечно, – un peu gênant, ну, а про себя...

– Пол де Кок – писатель очень хороший, – заметил Ластов, – рисует прекрасно парижский быт, но все-таки я того мнения, что чтение его в ваши лета более вредно, чем полезно: юношество имеет обыкновение вычитывать из романов именно то, чего не следует.

– Ну да! Послушайте, ведь вы уважаете Лизу, как вашу же студентку?

– Положим, а что?

– Да то, что она и Наденьке позволяет читать, что той вздумается.

– Не может быть!

– Я же вам говорю; что мне за выгода лгать?

– Надо переговорить об этом серьезно с Лизаветой Николавной.

– Можете.

Моничка ускорила шаги, чтобы поравняться с Куницы-

⁶⁷ Наивно (фр.)

ным, который в это время с особенным жаром объяснял что-то Наденьке; но осторожный правовед сделал вид, будто не слышит вопроса, с которым обратилась к нему Моничка; чтобы не возбудить общего внимания, последняя нашлась в необходимости воротиться к своему буке-«университанту».

– Если бы вы знали, m-г Ластов, какой вы скучный – ну, просто Костомаров!

Ластов рассмеялся.

– Дай-то Бог; очень рад был бы.

– Нет, в самом деле, как же, сами согласитесь, ходить с молоденькой девицей и не уметь занять ее?

Ластов зевнул в руку.

– О чем говорить прикажете?

– Мало ли о чем. Если не можете ни о чем другом, так говорите хоть о театре. Часто вы бываете в опере? Говорите, острите, ну!

– Бываю.

– А, скажите, пожалуйста, бываете! Какая же опера более всего нравится вам? Каждое слово приходится выжимать из вас, как из мокрого платка.

– Какая мне опера более всех нравится? Если б я был хвастлив, то сказал бы: «Разумеется, „Дон Жуан!“» Но я откровенен и сознаюсь, что и музыку Верди слушаю с большим удовольствием, например, «Трубадура», «Травиату»...

– «Травиату»? Да ведь все наши примадонны толсты, а Травиата умирает от чахотки? Да и декорации в «Травиате»

очень незавидны.

– Опять-таки должен сознаться, что ни певицы, играющей Травиату, ни декораций не видел.

– Как не видели? Где же вы сидите?

– А в парадизе, притом на второй скамье. Первая скамья, как известно, искони абонирована, и абонементы эти переходят из рода в род, от отца к сыну, так что нашему брату, постороннему, не родившемуся под счастливой абонементной звездой, приходится удовольствоваться второй скамьей; а с этой ничего не видно, если с опасностью для жизни не перегибаться всем корпусом через головы впереди сидящих. Я сажусь обыкновенно лицом к стене, чтобы не ослепнуть от яркого блеска люстры, висящей перед самым носом, закрываю глаза и обращаюсь весь в ухо.

– Все-таки не понимаю, зачем вы ходите наверх, а не в партер?

– Очень просто: потому, что по скудности финансов не имею доступа в преисподнюю; поневоле взлетишь в высшие сферы.

Моничка посмотрела на молодого человека искоса и сжала иронически губки.

– Вы, как поэт, везде, кажется, взлетаете в высшие сферы. «Окончательно провалился!» – подумал поэт.

IX. Ржаной хлеб и безе

Не более успеха, однако, имел и правовед у гимназистки.

– Поедете вы отсюда в Париж? – спросил он ее по-французски.

– Не думаю, – отвечала она на том же языке. – Сестра пьет сыворотки и, вероятно, придется пробыть здесь все лето. Да в Париж в это время года, я думаю, и не стоит: жарко, душно, как во всяком большом городе; да и вообще туда, кажется, не стоит.

– Ай, ай, m-lle Nadine, какие вы вещи говорите! Париж – центр всемирной цивилизации, всякого прогресса: науки, искусства, высшее салонное образование, всевозможные безобразия наконец – все это сосредоточено в новом Вавилоне, как в оптическом фокусе, и всякого мало-мальски образованного человека влечет туда с неодолимой силой, как магнитная гора в арабской сказке. Приблизится к такой горе на известное расстояние корабль – и все железо корабля: гвозди, обивка и прочее вырывается само собою из стен его и мчится навстречу волшебной горе.

– То-то, – подхватила Наденька, – что когда железные части такого корабля отрывались от него, существенные составные его части, как-то бревна и доски, лишались взаимной связи, распадались, и бедные пассажиры судна погибали в волнах. Молодежь, стремящаяся на всех парусах в Париж,

лишается там своих гвоздей и распадается в ничто. Недаром гласит немецкая поговорка: «Nach Paris gehen Narren, davon – kommen Gecken»⁶⁸.

Правовед усмехнулся, подбросил себе в глаз стеклышко (в чем достиг настоящей виртуозности) и свысока посмотрел на собеседницу.

– С ваших, m-lle, хорошеньких губ как-то странно слышать столь резкий приговор. Верно, Добролюбова начитались?

– Не скрываю, начиталась.

– Кстати, как вы смотрите на танцы? Добролюбов по своей неуклюжести, не танцевал, – поклонники его ненавидят танцы.

– Видите, m-г Куницын, я люблю побесноваться, покружиться; как-то особенно весело, точно улетаешь куда-то; но все-таки танцы – ребячество, глупость. Лиза тоже не танцует.

Куницын расхохотался.

– Потому и глупость, что m-lle Lise не танцует? Она для вас авторитет? В настоящее время, m-lle, авторитеты – нуль, всяки имеет обо всем свое собственное мнение.

– Да и я же высказываю свое собственное мнение! Ну, сами посудите: в огромный, празднично освещенный зал сходится в пух и прах разряженная толпа – для чего, спрашивается? Чтобы попрыгать, как марионетки, под такт музыки! Неужели это не глупо?

⁶⁸ В Париж едут дураки, оттуда – лягушки (нем.)

– А, нет, m-lle, в некоторых отношениях бальная музыка решительно незаменима. Она заглушает задушевный разговор, так что изливайся перед любимым существом сколько угодно – никто не услышит. Потом она дает случая обнять это любимое существо, прижать от глубины души к сердцу, что во всяком другом случае было бы преступлением.

– Все это вздор! – перебила Наденька. – Вы говорите про любимое существо, а любовь – нелепость!

– Вот как! А не обожали ли вы сами в гимназии кого-нибудь из учителей?

– Были у нас глупенькие, которые обожали. Я слишком умная для того.

– Погодите немножко, придет и ваша пора, будете сами глупенькой.

– А вы уже глупенький?

– К вашим услугам.

– То-то я заметила, – Наденька засмеялась.

– Смейтесь, смейтесь! Вспомните мое слово: не успеете оглянуться, как окажетесь глупенькой.

– Перестаньте вздор нести, – серьезно заметила гимназистка. – В сентиментальный период романтиков любовь действительно была в моде; нынче она брошена, как шляпка старого фасона.

– Так-с. И всякая привязанность вздор?

– Привязанность? Нет, разумная – не вздор. Разумная привязанность рождается вследствие долгого знакомства с

предметом нашей привязанности, когда мы успели вполне убедиться в душевных достоинствах его. Любовь же, в том смысле, как вы ее понимаете, – в смысле влюбленности, безотчетного, глупого влечения, – разлетается, как дым, коль скоро любимое существо сойдет с пьедестала, на который вознесено нашей же фантазией, и разоблачится в свою обыденную, человеческую форму.

– Прошу извинения за откровенность, – сказал, – смеясь, Куницын, – но слова ваши так и отзываются риторикой. Верно, цитируете Добролюбова?

– С чего вы взяли, что у меня нет собственных убеждений? Впрочем, если не у Добролюбова, то у Белинского, учителя его в деле критики, действительно есть нечто подобное: кажется, в восьмом томе, где он разбирает Пушкина.

– Ха, ха, ха!

– Чему обрадовались? Белинский, кажется, уважительный авторитет?

– Я только что говорил вам, что не признаю авторитетов. Впрочем, смеялся я не тому. Меня забавляет, что вы запомнили так хорошо и том, и статью.

– Не диво вспомнить, когда в восьмом томе всего две статьи.

– Что же говорит о привязанности ваш Белинский?

– Он не отвергает ее, однако считает ее возможною только в случае взаимности. Любят вас (разумеется, чувством привязанности, а не влюбленности) – и это до такой степени

льстит вашему самолюбию, что вы начинаете сами благово-
лить к любящему, пока не полюбите его так же нежно, как
он вас. Станет он пренебрегать вами – и вы, как окаченные
холодной водою, остываете мгновенно. Привязанность без
взаимности и верность до гроба могут быть допущены толь-
ко как натяжка воли или – расстройство мозга!

– Сами вы себе противоречите, сударыня: только что го-
ворили, что любовь не в моде, а теперь допускаете ее в слу-
чае взаимности. Ведь Белинский говорит же о любви между
мужчиной и женщиной, а не между лицами одного пола?

– Н, да... Наденька замялась.

– А все виноват синьор Белинский! Я вот хоть сознаюсь
откровенно, что не могу одолеть его: больно фразист и учен;
вы же цитируете его, да сами сбиваетесь на нем.

Наденька покачала головой.

– Вы не понимаете меня... вы слишком молоды. Куницын
сострадательно усмехнулся.

– Ну, а вы-то совсем еще ребенок.

– Извините! Мне скоро шестнадцать, а девицы развива-
ются несравненно ранее мужчин. Вам сколько?

– Двадцать первый.

– То есть двадцать. Девушка в шестнадцать лет считается
уже взрослой, а мужчина в двадцать все еще недоросль.

– Не хочу спорить, – с достоинством произнес правовед, –
пусть за меня говорят факты: в чем, спрашивается, заклю-
чается развитость шестнадцатилетней девицы, чем превос-

ходит она нас: телесным или умственным развитием? Девница в шестнадцать лет еще большая невежда в науках, чем мальчик того же возраста, потому что начинает уже выезжать на балы, тогда как мальчик еще продолжает учиться; следовательно, развитость ее только телесная. Что ж! Собаки взрослые уже на восьмом месяце. Я, положим, еще недоросль, а между тем окончил уже курс в училище правоведения, а между тем уже имею девятый класс!

– Что это: девятый класс?

– Это значит: титулярный. Даже кандидаты университета получают только десятый!

– Да так и следует, – сказала Наденька, – они знают несравненно больше вас.

– Да нет, вы, кажется, не так понимаете: девятый класс выше десятого.

– Как так выше?

– Конечно, выше. Самый высший – первый класс, затем второй и т. д., четырнадцатый или китайский император – низшая степень.

– Как же я этого не сообразила! – насмешливо заметила Наденька. – Станут студентам давать ту же степень, как правоведам! Помните, у Добролюбова:

Правый брег горист, а левый брег низмен, Так и все на Руси – что выше правее бывает.

В университет поступает народ неимущий, низкий, парии, народ печеный из грубого, ржаного теста. Ржаной хлеб, по-

жалуй, и сытнее, и здоровее кондитерских пирожков, но цена пирожкам всегда выше.

– Оттого выше, что они идут на стол образованного сословия, тогда как ржаной хлеб годен для одних мужиков.

– Неправда. И я люблю ржаной хлеб – с жарким, с супом. Посмотрела бы я, как бы вы сами стали заедать эти блюда сладким пирожком!

– Но под конец обеда, в виде десерта, всегда же приятно что-нибудь сладенькое, например, бeze, или нет?

– Что касается специально меня, то я охотница до бeze, но вкус у меня еще неразвит. Спросите-ка людей бывалых, испробовавших всего в жизни – они пренебрегают пирожным, и верно недаром.

– Пренебрегают кондитерским бeze, потому что вкушали уже бeze более сладостное – с прелестных уст. Вы пока знаете только бeze первого рода, но сделайте глупенькой, то есть полюбите, и найдете вкус и в бeze второго рода.

– Вы, m-г Куницын, как я вижу, большой эгоист: сами из породы бeze, так и расхваливаете свою братию... Вам бы только пирожных, да поцелуев, да романчиков: как есть сахарные – того и гляди, развалитесь.

– Вы, m-ле, кажется, думаете, что я не беру в руки серьезных книг? – с важностью заметил Куницын. – Напротив: я прочел всего Молешота, всего Фейербаха, Прудона... Знаете, главный принцип Прудона: «Le vol c'est la propriete»...

– Что, что такое? Воровство – имущество?

– Да, имущество всякого... то есть всякому предоставляется воровать сколько угодно, не попадись только.

– И это главный принцип Прудона?

– Да, это принцип всех вообще коммунистов...

– Знаете, m-г Куницын, мне сдается, что вы не читали никого из этих господ.

Правовед обиделся.

– Что ж тут необыкновенного? Современному человеку надо ознакомиться со всеми отраслями знания. Я ведь и не говорю, что философия – вещь интересная; материя она скучнейшая, сути которой едва ли что сыскать; но возмите-ж опять – долг всякого человека образоваться... Если философы посвящали лучшие годы жизни сочинению отвлеченных теорий, не слыша около себя веяния окружающей жизни, то обязанность современного человека – дышать одною грудью со вселенной, мыслить со всеми и за всех, а следовательно, и с философами. Понятно, однако, что философия для нашего брата лишь дело второстепенное, одно из звеньев всей цепи наших знаний. А как философия такая непроходимая сушь, то чем скорее отделаться от нее, тем и лучше; ведь все равно ничего путного, реального не вынесешь. И могу похвалиться: перелистал на своем веку столько философских переливаний, что на всю жизнь хватит.

Наденька пожала плечом и не сочла нужным сказать что-нибудь.

«Странное дело! – рассуждал сам с собою Куницын, слы-

стывая тросточкою пыль со своих светлых, широких панталон. – Чем же развлечь, привлечь ее? О Париже, о чувствах, о предметах серьезных говорить не хочет; о чем же, наконец, толковать с ней? *Sacrebleu*⁶⁹!»

Он не догадывался, что гимназистке вообще не хотелось говорить с ним.

⁶⁹ Проклятье (*фр.*)

Х. Синий чулок

И Змеин, незаметно для себя самого, очутившись около Лизы, затруднялся вначале в теме для разговора.

– Не взыщите, если я не займу вас хорошенько, – откровенно сознался он, – но я не мастер болтать с барышнями.

– Болтать! Как будто женщина может только болтать и неспособна на разумный разговор? Знаете ли, что вы грубите?

– Очень может быть, я ведь предупредил вас, что не горазд на комплименты.

– Да от комплиментов до грубостей «дистанция огромного размера». Разве разговор мужчины с женщиной должен ограничиваться комплиментами? Я думаю, если женщина собирается сдавать на кандидата...

– И то! Я забыл. Но позвольте узнать, по какой вы это части?

– Сначала я занималась историей, но после, когда естественные науки получили у нас такое значение, я перешла к натуралистам. Что вы усмехаетесь так язвительно? Вы, как Куторга, думаете, что мозгу у женщин менее, чем у мужчин? Так знайте же, что я хочу убедить вас на себе, что женщина на все так же способна, как ваш брат, мужчина.

– Убедите.

– Какой бы стороною ума прежде всего блеснуть перед ва-

ми?

– Да хоть сметливостью. Сметливость у женщин развита более других способностей.

– Извольте. У вас есть теперь в кармане книга.

– Есть.

– Видите, какая сметливость; ни вы, никто не говорил мне, что вы взяли с собою книгу, а я домекнулась.

– Как же вы домекнулись?

– По простой, логической цепи мыслей: вы пренебрегаете женским обществом; вам предстояло гулять с женщинами – вы знали, что будете скучать. «Возьму-ка с собою книжку, – сказали вы себе, – при первом удобном случае улизну куда-нибудь в сторону и расположусь под сенью струй». Ведь так?

– Положим, что так.

– Я вам скажу даже, что у вас за книга.

– Едва ли.

– Беллетристикой вы заниматься не станете; значит, это не роман. Учено сочинения также не станете читать, потому что путешествуете для развлечения и не захотите скромную жизнь туриста отравить постным блюдом учености. Книга ваша должна быть из полуученых, популярно-ученых. Но вы натуралист и выбрали, конечно, сочинение по своей части...
Пари: у вас что-нибудь Карла Фохта?

Змеин не мог скрыть некоторого изумления.

– Логика у вас действительно не женская!

– Что ж, угадала? Фохта?

– Фохта.

– Покажите.

Змеин подал ей книгу.

– «Bilder aus dem Thierleben⁷⁰», – прочла она. – Как кончите, так одолжите мне. Я давно желала прочесть это сочинение, да неоткуда было взять. В библиотеках не дают: запрещено, дескать. Студенты же знакомые хоть и обещались достать, да по обыкновению забывали вечно.

– Можете взять хоть сейчас.

– Благодарю вас.

Перелистывая книгу, Лиза остановилась на одной странице и прочла вслух:

– «Das Werden der Organismen hat für mich stets einen weit grosseren Reiz gehabt, als das Bestehen derselben und der Prozess der Selbsterhaltung. Es liegt etwas stabil-Langweiliges in der Erhaltung des thierischen Organismus – in dieser doppelten Buchführung, die über Einnahme von Nahrungsstoffen und Ausgabe verbrauchten Materials von dem Organismus mit ermüdender Gleichförmigkeit geführt wird, und wo sich das Haben als Fett ansetzt, während das Soil sich durch Abmagerung kundgibt, und endlich ein Bankerott oder der zunehmende Wucherzins, welchen der Organismus zahlen muss, das ganze Geschäft tendigt und die Firma zu den Toten wirft»⁷¹.

⁷⁰ Картинки из жизни животных (нем.)

⁷¹ Эволюция организмов для меня было всегда гораздо привлекательнее, чем

– Остроумен, как всегда, – сказала Лиза по прочтении отрывка. – Но я не вполне разделяю вкус Фохта. Его томит монотонное прозябание земных тварей. Меня тоже. Но есть случай, где такое прозябание делается в высшей степени интересным: это если акклиматизировывать какую-нибудь животную или растительную породу. Существо экзотическое, выросшее под знойным небом юга, вы перевоспитываете для своей холодной родины, холите его, защищаете от резких влияний климата, и вот – старания ваши увенчиваются успехом: ваш приемыш перерождается на ваших глазах, и вы дарите отечеству новую породу! Жаль, что у нас в России эта статья обращает на себя еще так мало внимания. Главная трудность заключается, конечно, в натурализации животных: растение, акклиматизируясь, в то же время и натурализуется; животное же, перенесенное в другой градус широты, хотя и существует вначале с грехом пополам, как степной помещик, приехавший в столицу пожуировать жизнью, – однако это не более, как прозябание, существование болезненное, от которого еще далеко до полной натурализации. Что ж вы молчите, Александр Александрович? Неужели вы не интересуетесь этим вопросом?

их существование и процесс самосохранения. Существует нечто стабильно скучное в сохранении животного организма – в этой двойной бухгалтерский учет, о поступление питательных веществ и выход потребляемых материалов из организма с утомительным единообразием, где кредит остается в виде жира, в то время как дебет проявляется истощением, пока, наконец, банкротство или усиленное ростовщичество, не остановят и не закроют компанию (*нем.*)

На Змеина красноречивый монолог экс-студентки не произвел почему-то того благоприятного впечатления, которого она обещала себе от него. Нахмурившись и надув губы, натуралист отвечал резко:

– Нет!

– Что нет?

– Нет, то есть я не согласен с вами.

– Насчет чего?

– Гм... Да хоть насчет того, что может найтись разумный человек, который возьмется акклиматизировать иноземцину ради одного плезира, без всякого вознаграждения.

– Отчего же, Александр Александрович? Настолько же всякий бескорыстен в деле общего блага.

– Общего блага? Что такое общее благо? Всякий человек печется только о себе – вот вам и общее благо. Да что ж? Пусть каждый печется только хорошенько о себе – и все будут счастливы. А как кулачное право – основной закон природы и жизни, то кто сильнее, тот и счастливее.

– Зарапортовались! – перебила Лиза. – Скажите на милость, что так встревожило вашу желчь?

– Да разве не правду я говорю? Эгоизм – этот рычаг, которым Архимед хотел повернуть землю, составляет основу всякого существа, потому что если мы сами не станем печься о себе, так кто же возьмет на себя эту заботу? А следовательно, повсеместно и кулачное право. Котлету, приготовленную из филе невинно заколотого быка, я съедаю с тем же звер-

ским хладнокровием, с каким волк уплетает ягненка, и ни его, ни меня нельзя обвинять за нашу кровожадность. Логика голода – неотразимая логика. Умники-баснописцы, правда, советуют волкам довольствоваться травой; но если бы такого барина оборотить в волка – посмотрел бы я, как бы он плотоядными зубами, плотоядным желудком пережевывал, переваривал растительную пищу! Издох бы, неразумный, с голоду, а все по незнанию анатомии. Весь кодекс нашей гуманности сводится к правилу: «Не тронь меня – и я тебя не трону». Кто дошел до понимания этого правила, тот считается человеком просвещенным: уважает, мол, личность. Если же мы помогаем кому в беде, то из чистого эгоизма, в надежде поживиться когда-нибудь от него; или, по крайней мере, из эгоистического побуждения: устранить от себя неприятное ощущение при виде несчастного.

– То есть из прикладного эгоизма? – сострила Лиза. – Вы чем-то раздражены, Александр Александрович, и судите голословно. Подумайте хорошенько: не делали ли вы сами когда-нибудь в жизни добра?

– Как не делать – если понимать под добром оказывание помощи, – но все из прикладного эгоизма. Я приготовлял, например, бедных молодых людей безвозмездно в университет. Но что побуждало меня к тому? Мое человеческое достоинство было оскорблено видом людей, одаренных от природы одними со мной мозговыми орудиями и не имеющих случая развиваться. Чтобы избавиться от этого тягостного чув-

ства, я брался учить бедняков.

– Так это очень похвальный эгоизм; дай Бог, чтобы все эгоистические побуждения на свете были так же бескорыстны.

– Да, я согласен, что подобный эгоизм невреден; но он все-таки эгоизм, то есть чувство, заставляющее нас делать добро другим – только для удовлетворения самих себя. Все на свете делается вследствие эгоизма; но эгоизм бывает трех сортов: вредный, безразличный и полезный.

– Так и я, значит, действовала под влиянием эгоизма, когда обучала в воскресных школах?

– А то как же?

– Как вы унижаете меня в моих собственных глазах! Бывало, как окончишь урок, всегда так довольна собой: «Вишь, говоришь себе, какая ты хорошая!»

– И вы имели полное право говорить себе это. Своим «добрым делом» вы действительно возвышались над уровнем толпы, но опять-таки вы не можете вменять себе это в достоинство. Разве вы сами сделали себя такой, как вы есть? Обстоятельства сложили ваш характер: вы воспитывались, развивались в такой среде, где было понято, что помогать ближнему выгоднее, чем оставаться к нему безразличным – уже из видов спокойствия совести.

– Ваши софизмы довольно убедительны, – согласилась экс-студентка. – Грустно, в самом деле, подумать, как поддаешься иногда силе обстоятельств, как теряешь иногда вся-

кую силу воли. Помнится, в Петербурге... идешь в воскресную школу; зима, мороз; спешишь по набережной Фонтанки и кутаешься в салоп, в муфту. Стоит на дороге, прислонившись к фонарю, оборванный пролетарий, дрожит, бедняжка, посинел от холода, простирает к тебе руку с жалобным воплем: «Жена, дети... помогите!» Взглянешь ты на него, завернешься теплее и поспешишь мимо, успокаивая себя, мелочным доводом: остановись, так опоздала бы на урок.

– А между тем поступок ваш был совершенно естествен, и вы напрасно раскаиваетесь в нем: вы не могли поступить иначе, обстоятельства принудили вас поступить так, а не иначе.

– Полноте! Сколько же тут требовалось воли? Если б я и опоздала минутою на урок – что ж за беда! А один или даже несколько из моих ближних были бы спасены от мучений голода. Стоил только остановиться.

– Вы говорите: *только*; но это *только* и есть, быть может, та лишняя гирька на весах вашего сострадания, которая перетянула на сторону «неподания помощи». Помочь велит вам чувство униженного человеческого достоинства, вопиющее вместе с несчастным: «Жена, дети... помогите!» В пользу же неоказания помощи говорит несравненно большее число данных, хотя и не столь полновесных: предчувствие, что если вы вынете руку из муфты, то не отогреете ее скоро – раз; предположение, что нищий, нос которого и без того превратился от неумеренных возлияний Бахусу в некоторо-

го рода сливу, пропьет ваши деньги в первой распивочной – два; мысль, что проходящие почтут ваш поступок фарисейским – три. И вот, приближаясь к нищему, вы колеблетесь: помочь или не помочь? Но тут является внезапно новое данное в пользу неоказания помощи: вы вспоминаете, что поздно, что, пожалуй, опоздаете в школу – и гордо проходите мимо. Будь климат в Петербурге умереннее – одним неблагоприятным данным было бы менее, и вы, вероятно, помогли бы бедняку; но в суровой климатической обстановке и сердце человека черствеет: жители юга всегда общительнее, добродушнее нашего брата, северянина.

– Всякую волю в человеке, однако, нельзя отрицать, – возразила Лиза. – Если я пересиливаю себя, если во мне происходит борьба, то тут-то и проявляется сила воли. Возьмем тот же пример с нищим. Положим, я отошла от него на несколько шагов. Вдруг мне делается его жаль; я начинаю колебаться, оборачиваюсь и возвращаюсь к несчастному наделить его милостыней. Чем же я заставила себя преодолеть свою неохоту вернуться, как не силою воли?

– И тут никакой воли не было. Что вы колебались, что вам пришлось, как вы выражаетесь, пересилить себя – то это явление самое обыкновенное, наблюдаемое во всех случаях, где происходит борьба, вследствие большей или меньшей равности борющихся сил. На весах вашего человеческого достоинства чаши нагружены в рассматриваемый момент почти одинаково и колеблются по тому самому – то в одну, то

в другую сторону, оставляя вас в неизвестности, которая перетянет. Ваше положение здесь совершенно страдательное, и вы вовсе непричастны тому своей волей, если наконец одна из чаш перетянет. Всякая воля – химера.

– Вы убедили и победили меня, господин философ; а между тем... – Лиза лукаво засмеялась. – Между тем и я выхожу победительницей!

– Как так?

– Да так. Помните, в начале прогулки вы объявили, что скучаете во всяком женском обществе; теперь вы с жаром спорите с женщиной, стало быть, находите интерес в беседе с ней.

– Гм... да.

– Ваше желчное настроение, кажется, прошло; скажите теперь по совести: чему вы так рассердились, когда я говорила про акклиматизацию?

– Нет, зачем...

– Ну, однако? Не на меня ли изволили гневаться?

– А если б?

– А! Это интересно. Но за что? Говорите: за что?

– Сами напрашиваетесь на откровенность. Видите: в начале нашего знакомства вы произвели на меня довольно приятное впечатление как умная, рассудительная девушка. Легкая взбалмошность так обыкновенна в ваши лета, что я не придал ей значения в вас. Когда же вы заговорили об акклиматизации, я стал убеждаться, что имею дело с синим чул-

КОМ...

– И я горжусь этим названием! Пожалуйста, не изменяйте своего мнения; я хочу быть синим чулком...

Змеин с сожалением пожал плечами:

– Вольному воля.

XI. Гроза. О французских романах и патриотизме. Schloss Unspunnen

Прогулка в летний полдень имеет свои приятности; но все они взвешиваются одною неприятностью – зноем. Солнце, стоящее в зените, жжет изо всех сил, словно за то невесть какое жалованье получает, так что и дух у вас спирает, и в глазах рябит. Задыхаясь и обтираясь платками, общество наше едва обогнуло Руген, как набежала тучка и раздался первый, внушительный рокот грома. Все засуетилось. Вдруг – ах, а! Золотая, с голубоватым сиянием, электрическая змейка, дивно-ловко извиваясь, низринулась с неистовством в средину общества; лица как мел побелели – нельзя было сказать: от отблеска молнии или от испуга. В следующий же миг грянула небесная артиллерия, и мелким ружейным огнем задрезжало в соседних горах в ответ переливчатое эхо. Трава, деревья, платья дам – все зашелестело под крупными каплями грозового дождя.

– Sauve-qui-peut⁷²!

Дамы в своих воздушных одеяниях, с крохотными зонтиками, не дающими ни малейшей защиты от капитального ливня, мужчины в одних сюртуках – все бежало спасаться. «Юнгфрауенблик!» – был общий лозунг: из-за ближних де-

⁷² Спасайся, кто может! (фр.)

рев манила крыша этого отеля.

– М-г Куницын! – крикнула Моничка в след правове-
ду, искавшему, подобно другим, спасения в поспешном бег-
стве. – *Soyez si aimable, pretez moi votre chapeau et votre
surtout*⁷³.

Молодой человек остановился и снял с себя то и другое.

– *Voila, mademoiselle?*

– *Grand merci*⁷⁴.

Она торопливо накрылась соломенной шляпой правоведа
и пиджак его надела внакидку.

– *Prenez, defendez vous par ceci, comme vous pouvez*⁷⁵.

Оставив в руках его свой маленький зонтик, она уже мча-
лась к спасительной кровле. Распустив над собою зонтик,
правовед поскакал вслед за нею.

Ластов, так неожиданно покинутый своей собеседницей,
отыскивал глазами место, где бы укрыться, когда завидел
в нескольких шагах, под густолиственным орешником, На-
деньку. Понятно, что в мгновение ока он был у ней. Гимна-
зистка встретила его с приветливой, детской улыбкой и ука-
зала ему около себя, под деревом, сухое место.

– Как славно, Лев Ильич, не правда ли? Чувствуешь, что
живешь! Помните, у Майкова...

– Помню, оно так и начинается:

⁷³ Будьте добры, одолжите мне вашу шляпу и сюртук (*фр.*)

⁷⁴ Большое спасибо (*фр.*)

⁷⁵ Возьмите, защищайтесь этим, как вы можете (*фр.*)

Помнишь – мы не ждали ни дождя, ни грома.
Вдруг застал нас ливень далеко от дома...

– Нет, я думала про другое. Но и это, кажется, премиленькое. Дальше, кажется:

Мы спешили скрыться под мохнатой елью?

– Не было конца тут страху и веселью, —

подхватил Ластов.

– Дождик лил сквозь солнце, и под елью мшистой
Мы стояли точно в клетке золотистой...

– Ах! – вскрикнула тут Наденька, хватаясь бессознательно за руку молодого человека: вся окрестность вспыхнула мгновенно ослепительным огнем, сопровождаемым гулливymi раскатами.

– Вдруг над нами прямо гром перекатился, —

продолжал цитировать поэт:

– Ты ко мне прижалась, в страхе очи жмуря...

Благодатный дождик! Золотая буря!

– Как я испугалась! – вздохнула из глубины души гимназистка, отодвигаясь от соседа. – А я, кажется, не трусиха...

Я, знаете, еще ребенком смерть как любила грозу; меня так и называли: маленькой колдуньей. Чуть блеснет первая молния, брызнет дождик, я – в сад, и стою там с непокрытой головой. Дождь заливает меня, гроза шумит, а я стою, как очарованная. Явлюсь домой – маменька и гувернантка только ахнут: волоса-то всклокочены, платье как губка: «Наденька, Наденька, что с тобой?» А я тряхну головой да бегом опять под дождь. Теперь я начинаю понимать, что меня всегда так привлекало к грозе.

– Что?

– Лучше всего разъяснит вам это майковское стихотворение, о котором я вам говорила:

Жизнь без тревог – прекрасный, светлый день,
Тревожная – весны младые грозы.
Там – солнца луч и в зной оливы сень,
А здесь – и гром, и молния, и слезы...
О, дайте мне весь блеск весенних гроз,
И горечь слез, и сладость слез!

– И вы, Надежда Николаевна, сочувствуете этому? – спросил тихим голосом поэт. – Вы понимаете горечь и сладость слез?

– М-да... – Наденька замялась. – Ах, да вот и наши философы! – подхватила она с живостью, увидев приближающихся Змеина и Лизу. – Перемокли как, батюшки! Где это вы пропадали?

– Как видишь, под дождем, – отвечала, отряхиваясь, экс-студентка. – Отстали немножко. Что ж, теперь можно и далее, дождя нет.

Гроза действительно унялась. Там и сям по освеженной синеве бродили еще легкие облачка, но под жгучими лучами полуденного солнца высыхали уже и дорожки, и зелень.

Молодежь собралась опять в путь к первоначальной цели прогулки.

– Да! – вспомнил Ластов. – Правда ли, Лизавета Николаевна, что вы сестрице своей даете читать французских романистов?

– А что же?

– Да ведь увлекательные переливания Дюма, Сю, Февалея не имеют ничего общего с нагою действительностью?

– Не имеют.

– Так как же давать их в руки невзрослой девочке, фантазия которой и без того чересчур прытка, а при помощи этих небылиц может разыгаться до безобразия?

– Невзрослой! – обиделась Наденька. – Мне шестнадцать.

– Зачем прибавлять, милая? – заметила Лиза. – Тебе всего в мае минуло пятнадцать.

Наденька покраснела.

– Ну да, минуло, значит уже нет.

– Положим, успокойся. Вы, Лев Ильич, удивляетесь, что я не воспрещаю ей читать французских романов? Но для полного образования всякому человеку надо ознакомиться и с

нелепицами мира сего.

– С детства-то? Для детей это положительно яд. Я очень хорошо помню, как будучи гимназистом второго-третьего класса, брал с собой в классы «*Монте-Кристо*» или тому подобную небывальщину, чтобы читать во время уроков, под скамьей. Зато как вызовут к доске – идешь, шатаясь, словно пьяный, станешь у доски и не только не знаешь, что отвечать, – не понимаешь даже заданного тебе вопроса. А как вредно действуют романы на расположение духа, на характер ребенка! Ходишь всегда в каком-то чаду, делаешься сварливым, всем недовольным: «Что я за несчастный! – повторяешь себе. – Отчего со мною не бывает никаких приключений? Миновало золотое время...» И начинаешь хандрить, делаешься безучастным ко всему окружающему, бросаешь заниматься: «Что пользы? Ведь все равно ни к чему не послужит...» Является даже мысль о самоубийстве...

– Ну, вы слишком поэтизируете, господин поэт, – перебила экс-студентка. – До какого возраста, скажите, упивались вы романами?

– До четырнадцати, может быть и до пятнадцати лет.

– И вы недовольны, что так рано отделались от пагубной страсти к этому сладкому яду? А я скажу вам, почему он вам так скоро опротивел: вы допились до омерзения. Чем скорее дойти до этой стадии, тем лучше. После периода романов настает период отечественных журналов. С какою гордостью, бывало, возвращалась я из конторы редакции «Со-

временника» или «Русского слова» с новым номером журнала под мышкой! Нарочно повернешь его еще заглавным листом наружу, чтобы все проходящие видели, что вот ты, мол, какая – прогрессистка! Для Наденьки, видите ли, кончается и этот период. Она в журналах читает уже ученые отделы, и вскоре, подобно мне, заинтересуется, вероятно, самыми науками, так что бросит и журналы.

– Напрасно. Журналы всегда полезны, хотя уже тем, что знакомят нас с современными интересами. Что же до французских романов, то я должен вам еще вот что заметить. Вы смотрите на них, как на неизбежное зло, с которым чем скорее познакомиться, тем лучше, чтобы получить скорее отвлечение к нему?

– Ну да.

– Я же вижу в них зло, которого можно избежать, если вовремя изодрать вкус более удобоваримыми вещами. Человек, испивший раз хорошего рейнвейну, не пристрастится уже к шампанскому. Давайте молодежи Диккенса, Гейне, Тургенева, Белинского – и французская шипучка не прельстит их.

– Так, двенадцати-, тринадцатилетним ребятишкам и давать Гейне, Белинского? Да они половины не поймут.

– Нет, в эти лета вообще не годится читать что либо беллетристическое. До шестнадцатилетнего возраста человек достаточно занят собиранием элементарных, научных сведений, и только с этого времени, когда понятия у него при-

ведены в некоторого рода систему, он может без большого для себя вреда оглядеться и в мире литературы. Мне живо вспоминается *Einwohner-Madchenschule*⁷⁶ С Фрёлиха в Берне, которую мы с Змеиным посетили проездом. Главные старания Фрёлиха обращены на развитие в ученицах эстетического чувства. Для этого он уже сызмала учит их музыке, устраивает прогулки по романтическим окрестностям Берна, а в высших классах знакомит и с литературой. При этом он заставляет и самих учениц сочинять стихи.

– Как это, должно быть, весело! – не могла удержаться от восклицания Наденька.

– Мне удалось присутствовать на таком уроке. Одна из учениц, семнадцатилетняя красивая девушка, прочитывала элегию своего сочинения.

– И каким размером была написана эта элегия? – перебила опять гимназистка.

– Гекзаметрами; ведь это самый легкий размер: в семнадцать слогов и без рифм. Содержанием стихотворения была любовь к родине. Живописную природу Швейцарии, поэтические легенды, где высказалась швейцарская доблесть, надежду на будущее благосостояние отечества, твердую уверенность, что народ ее сам собою правящий и никому не отдающий отчета в своих действиях, никогда не запятнает своей чести – все это соединила она в звучное попури, от которого растрогались и она, и ее товарки. Сам Фрёлих просле-

⁷⁶ Женская школа (нем.)

зился и наградил поэтессу поцелуем в лоб. Сцена была поистине умилительная, так что подействовала раздражительно даже на слезные железки северного скифа, присутствовавшего тут посторонним зрителем. Невольно вспомнились ему родные рассадники женской премудрости, откуда, вместо живых цветов, душистых, свежих, выпускается в свет коллекция цветов красивых, но бумажных, на проволоке...

– Грустно, в самом деле, положение наших институток, – заметил Змеин. – Они скажут вам, пожалуй, когда и зачем почесал себе за ухом Александр Македонский, или как извлечь квадратный корень из... кубической селитры; а между тем в состоянии при виде пожатой жнивы всплеснуть радостно руками: «Ах, теперь я знаю, как растут спички!» Самое же горькое то, что имея о России такие же смутные понятия, как о Сандвичевых островах, они делают совершенно равнодушными к благу своей родины, делают космополитками, в самом жалком значении слова.

– А вы, Александр Александрович, разве не космополит? – спросила Лиза. – Вы, кажется, такой холодный, что не можете быть патриотом, привязаться к чему-нибудь серьезно.

– О, космополитизм – заманчивая вещь, – согласился Змеин. – «Отказаться от всяких личных симпатий, жить не для отдельного народа, а для целого человечества!» Как громкие фразы! Люди, сшитые на живую нитку, как Куницын, недаром прельщаются ими. Но наш брат – глубокая,

тяжелая на подъем натура, сросшийся со своим отечеством всеми фибрами своего существа, не может оторваться от того, что составляет его жизнь, его плоть и кровь. Если человек родился в России, воспитывался в русских заведениях, между русскими, вскормлен русским хлебом, русскими понятиями – как ему не любить России? Любовь к родине совершенно так же естественна, как любовь к родителям, к братьям и сестрам.

В таких разговорах путники наши вышли в светлую, прелестную долину. Справа и слева воздымались утесистые громады, впереди искрились снежные хребты Юнгфрау и Мёнха. Поблизости, из-за купы густого орешника, глядела зубчатая стена развалины.

– Вот никак и Уншпуннен, – заметил один из молодых людей.

Около развалины, между дерев, мелькнули фигуры мальчика и нескольких коз.

– Сейчас узнаем, – сказала Наденька и подбежала к пастушку. – Послушайте, какая это руина?

Мальчуган с любопытством разглядывал хорошенькую барышню, так неожиданно выросшую перед ним из земли. Она должна была повторить вопрос.

– Разумеется, Уншпуннен, – удивленный ее неведением, отвечал мальчик.

– Какие же у вас о нем легенды? Говорите, рассказывайте, молодой человек, покуда не подошли другие.

– Что такое легенда?

– Легенда?..

Наденька смолкла: на шляпе мальчика усмотрела она большую, пышную розу и забыла уже о своем вопросе.

– Какая прелесть! – вскрикнула она. – Подарите мне ее.

И, не дожидаясь его согласия, она сорвала шляпу с кудрявой головы его и отцепила розу. Потом достала портмоне и подала мальчику франк.

– На-те.

Пастушок с радости рот разинул и забыл даже поблагодарить щедрую дательницу. Когда же та обратилась к спутникам, чтобы похвастаться своей добычей, то осторожный мальчуган, опасаясь угрызений совести барышни за ее великую расточительность, заблагорассудил скрыться со своими питомцами.

– Руина как руина, – говорила Лиза, озирая башнеобразную, весьма необширную развалинку замка. – Только прежние обитатели этой великолепной Burg были, вероятно, лилипуты, потому что иначе необъяснимо, как в таком тесном пространстве умещалась широкая жизнь рыцарей.

– Да они и были лилипуты, – подтвердил Змеин, – в прежние века и Швейцария кишела мелкотравчатыми феодалами. Всякий из «благородного» сословия рыцарей считал необходимою принадлежностью своего сана – неограниченное самоуправство, хотя б на пространстве квадратной сажени; вот начало этих лилипутских замков.

– А что, – вмешалась Наденька, – может быть, и не все лилипуты этого замка вымерли? Пойдемте, поищемте: чего доброго, вытащим из какой-нибудь щели карапуза Зигфрида.

– Непременно вытащите: здесь раздолье мышам и крысам.

– Ах, какой вы гадкий, Александр Александрович! Недаром Моничка называет вас материалистом. Лев Ильич, вы хоть натуралист, да поэт. Побежимте, догоните меня.

Наденька и за нею Ластов взбежали на холмик, на котором возвышалась развалина, и, отыскав на противоположной стороне ее бесформенное отверстие, служившее когда-то дверью, спустились в самый замок. Их обдало прохладой и сыростью. Крышу здания Бог весть, когда уже снесло, и ласково млело в вышине отдаленное, лазурное небо. В ногах у них валялись кирпичи и камни, обломавшиеся от стен; по воле расцветали кругом чертополох, папоротник, крапива.

– Как бы взобраться вон туда? – говорила Наденька, указывая глазами на верхушку стены. – Какой, я думаю, оттуда вид!

– Посмотрим, – сказал Ластов и, ухватившись обеими руками за край высокой окопной бойницы, не имевшей, как само собою разумеется, ни стекол, ни рамы, вскочил на самое окно. – Ну, Надежда Николавна, теперь вы.

Он опустил на одно колено и протянул к ней руки.

– Да страшно...

– Ничего, не бойтесь, держитесь только крепче.

Наденька взялась за поданные руки, оперлась носком на выдавшийся из стены кирпич, Ластов приподнял ее – и она стояла уже на окне возле него.

– Ах, что за вид! Ведь я говорила!

Под ногами молодых людей расстилалась во всей своей летней красе лаутербрунненская долина, залитая жгучим золотом солнца.

– Послушайте, Надежда Николаевна, когда вы вглядываетесь в такой ландшафт, не находит на вас неодолимое желание броситься из окошка навстречу всей природе, заключить в объятия целый мир? Девушка рассмеялась.

– А на вас находит? Ну, бросьтесь.

– Извольте. Господи благослови!

Он готовился соскочить с окна; Наденька вовремя удержала его за руку.

– Что за ребячество! Ведь расшиблись бы.

– Наденька! Лев Ильич! Домой! – донесся снизу голос Лизы.

– Уже? – удивилась Наденька. – Надо бы как-нибудь увековечить свое пребывание на этой высоте... Нет ли у вас карандашика?

– Есть.

Ластов вынул бумажник.

– Но стена слишком шероховата, – сказал он, – ничего не напишешь. Вот у меня визитная карточка – распишитесь на

обороте.

– Гуси-лебеди, домой! – раздалось опять снизу. – Где вы запропастились? Обедать пора, скоро два часа.

– Ах, скорей, скорей! – заторопила Наденька, выхватывая из рук молодого человека карандаш и карточку, и, приложив последнюю к стене, расчеркнулась на ней: «Н. Липецкая, 2/14 июля 186-г.»

– Спрячьте же куда-нибудь, да подальше, чтобы никто не нашел.

Ластов приподнялся на цыпочки и втиснул карточку в глубокую расщелину над окном.

– Здесь и дождем не захватит. Он соскочил внутрь развалины.

– А я-то как? – сказала гимназистка. – Ведь высоко.

– Упритесь на мое плечо.

– А вы закройте глаза.

– Могу.

Едва коснувшись плеча молодого человека, ловкая барышня в миг соскользнула на землю.

ХII. Какое назначение женщины?

– Так вы, Александр Александрович, о нас одного мнения с Наполеоном?

– С Наполеоном?

– Да, с Первым. Помните, как он выразился на вопрос *me Stael*: какую женщину он уважает более всего?

– Как?

– «Без сомнения, – сказал он, – *la respectable femme, qui a fait le plus d'enfants*⁷⁷».

– Со стороны француза подобный ответ был, конечно, не совсем деликатен, – усмехнулся Змеин, – тем более, что женщина, предлагавшая вопрос, явно напрашивалась на любезность: «Вас, мол, сударыня, я уважаю более всех». Но со своей точки зрения, Наполеон рассуждал весьма логично.

– А с вашей точки зрения? Впрочем, что ж я спрашиваю: ведь вы ученик Куторги?

– Во взгляде на женщин я действительно схожусь с ним отчасти.

– Значит, и по вашему, человеческие самки только пищат, не поют?

– Гм, казусный вопрос. Мне нравится, признаться, женское пение; но как знать – может быть, из пристрастия? Ведь

⁷⁷ respectableй женщиной, которая имеет много детей (*фр.*)

и птичьим самцам, я уверен, писк их самок кажется очаровательнейшим пением.

– Ну, пошли! Птичьи самцы одеты всегда в пестрое, праздничное платье, самки – в серое, будничное, следовательно, они сандрильоны, назначение которых сидеть дома, производить себе подобных и т. д., и т. д.

– Совершенно справедливо. И назначение человеческих самок – семейная жизнь.

Лиза сделалась серьезною.

– Вот вы, мужчины, какие деспоты, что не хотите в нас признать даже равных с вами умственных способностей! И все только потому, что вы телом сильнее. Смеются над средневековым кулачным правом, а что же это, как не вопиющее кулачное право? Я не отрицаю факта, что нынче много пустых женщин; но отчего их много? Оттого, что вы, мужчины, сделали из них этих кукол и рабынь, что вы не даете развиваться им, что вы столько раз напевали им: «волос бабы долог, ум короток», что они, наконец, и сами тому поверили.

– А вы, Лизавета Николаевна, затем, вероятно, остриглись, чтобы показать, что не подходите под общую мерку?

– Да, затем! – отвечала с сердцем экс-студентка. – Так как вы уже затронули этот вопрос, то знайте же, что я пожертвовала своими волосами в пользу недавних питерских погорельцев.

– Честь вам и слава; вы уподобились, значит, карфагенским женам. Но спрашивается, куда деть погорельцам такой

небольшой кусок каната? Разве с горя повеситься?

– Ваши остроты, Александр Александрович, совершенно неуместны. В жалком положении погорельцев и какие-нибудь восемь рублей, которые я получила от парикмахера за свою шевелюру, немаловажная помощь.

– Ну, восемь рублей у вас, пожалуй, и так бы нашлось; для такой суммы не стоило лишиться волос, этой истинной красоты женщин.

– Хорошо, оставим этот вопрос, Так, по-вашему, только замужня женщина достигает своего назначения?

– Да, незамужняя – незрелый плод...

– Который, в ожидании великого счастья быть выбранным в сожительницы одним из вас, должен сидеть сложа руки и помирать с голода?

– Нет, и незамужняя женщина должна трудиться. Я даже допускаю, что силам женщины до сих пор слишком мало, что круг деятельности ее мог бы быть обширнее нынешнего. Зачем бы ей не быть, например, конторщиком, управляющим домом или имением, фотографом, женским врачом? При незначительной семье подобные обязанности она могла бы исполнять даже во время замужества.

– А! Вот видите. Значит, замужество только помеха, значит, незамужняя женщина еще лучше замужней может исполнять свой человеческий долг. Что же вы говорили о незрелом плоде?

– И повторяю: незамужняя женщина – незрелый плод.

Пусть ее ставит себя по возможности независимо, зарабатывая свой собственный хлеб; но положение ее выжидательное. Уже поэтому (не говоря о ее меньших умственных способностях) женщина не может занимать должностей, более важных: профессорских, чиновничьих, потому что в этих должностях она не могла бы выйти замуж.

– Почему ж так? В Нью-Йорке же есть профессорши...

– Которые, вероятно, все холосты.

– Из чего вы это заключаете?

– Да представьте себе положение слушателей замужней профессорши. Сидят они в ожидании ее в аудитории. Вдруг объявляют им, что г-жа профессорша намерена подарить отчизне нового гражданина, почему не смеет в продолжение стольких-то недель выходить из комнаты. Слушатели и на бобах! Наконец, является она, начинает только что приветственную речь – а тут из-за дверей доносится жалобный писк; стремглав кидается профессорша за дверь – утолить жажду маленького пискуна, которого оставила там с нянькой. Слушатели опять на бобах!

– Зачем же ей кормить самой? – возразила экс-студентка. – Есть мамки.

– Добросовестная мать всегда кормит сама.

– Да, наконец, к чему выходить ей вообще замуж? Докажите мне, что семейная жизнь необходима, что без нее женщина – незрелый плод...

– Извольте. Вы ведь допускаете, что основание всего ор-

ганического мира – жизнь?

– Да. Что ж из того?

– Как произведения законов природы, мы не имеем и права нарушать эти законы и, рожденные однажды, не смеем самовольно пресекать свое существование, а, напротив, всеми силами должны поддерживать его.

– Так. Но кто же говорит о самоубийстве?

– Я говорю не о самоубийстве, а об убийстве тех существ, которым мы могли бы дать жизнь – и не даем. Умирая бездетно, мы делаемся убийцами наших потомков, членов будущего поколения. Хотя садовники и возвращают с особенною заботливостью махровые цветы, пленяющие нас своим пышным видом, но кому неизвестно, что всякий махровый цветок в сущности не что иное, как болезненное состояние цветка, как аномалия, так как плодородные части его: пестики и тычинки, превращены искусственным образом в более низкие органы – в лепестки. Что же сказать о людях, которые отказываются от семейной жизни для того, чтобы стать махровыми? Цветы махровые не теряют хоть своего натурально-го запаха, получают более роскошный вид; а махровые люди?

– Так и мужчины же бывают махровыми?

– Бывают. Только мужчина и женщина вместе взятые составляют целого человека. Мужчина – ум, женщина – чувство.

– Старая песня!

– Старая, но меткая, правдивая. Можете ли вы указать

мне на женщину, прославившуюся, например, как скульптор, живописец?

– Гм... не припомню сейчас.

– И не припомните, если бы даже стали припоминать. Скульптурных произведений женщин я даже не встречал; но отчего же женщины и в живописи не доходят далее цветов и плодов? Даже нет попыток изобразить исторический, всемирный сюжет. Тут виновато вот что...

Змеин указал на лоб.

– Мозг! – воскликнула Лиза. – Вы с Куторгой полагаете, что у нас его менее, чем у вас?

– Не полагаю, а положительно знаю, потому что лично производил взвешивания. Но есть большая вероятность, что и самый состав мозга у вас иной, чем у нас.

– Химия этого не показала.

– Не показала, но не потому, что ваш мозг и наш одинаковы, а просто потому, что химия стоит еще довольно низко. Надо рассматривать вопрос с отрицательной стороны: чего вы, женщины, не можете. Женщин-живописцев, скульпторов вы не могли мне назвать. Пойдемте далее: составила ли себе когда женщина громкое имя как первоклассный литератор?

– Сафо, Жорж Занд...

– Все звезды второй величины. Если женщины имели еще некоторый успех на литературном поприще, то потому, что могли выказать здесь чувство: Сафо – лирик, Занд – повест-

вовательница любовных интриг. Итак, и в литературе женщина – пас. А раскройте историю наук, изобретений – найдете ли вы хоть одно женское имя?

– Н-нет; но, вероятно, потому, что женщина была до сих пор слишком угнетена, что ей не давали случая развернуться.

– Пустяки! Так же можно бы сказать, что женщина ростом менее мужчины, потому что ей не дают развернуться. Возьмите известных мужчин: Шиллер целый век боролся с бедностью, Ломоносов, Линкольн – дети мужиков. Сила всегда возьмет свое; а где ее нет, там нечего и искать ее. Очевидно, что деятельность женщины должна вращаться в другой сфере, не интеллектуальной...

– Ну да! – перебила Лиза. – Чувство у нее развито несравненно глубже и т. д. Та же песня!

– Точно так. Чувство сострадания, способность переносить с твердостью горе, мучения – отличительные черты телесно слабейшего пола. В случаях, где главную роль играло чувство, хоть бы любовь к родине, женщины нередко обессмертивались высокими подвигами, как например: Жанна д'Арк, Шарлотта Корде. Но само собою разумеется, что назначение женщины не может ограничиваться выжиданием случая спасти родину, или сотворить иной подвиг. Назначение ее следует искать гораздо ближе, и сама природа ее указывает нам на него. Мужчина достигает возмужалости не ранее двадцати-двадцатидвухлетнего возраста, женщина

– выросла в шестнадцать, много-много в восемнадцать лет. Таким образом, до супружества женщина имеет на приобретение элементарных сведений несколькими годами менее мужчины; замужем же она и подавно не может серьезно заниматься науками...

– Почему? Вы думаете, что дети займут у нее столько времени...

– Да, думаю. Только женщина, с ее податливой, мягкой натурой, способна взлелеять первый возраст малютки. А сколько разнообразных занятий ждет ее при тщательном воспитании детей до тех годов, где они могут быть отданы в школу! Да и в периоде школы мать оказывает на них свое благотворное влияние. А если ко всему этому Господь наделяет ее что год новым детищем, как то и должно быть при нормальном образе жизни? Тут ей уж не до возвышенных мечтаний, не до общежитейских вопросов: самый близкий для нее вопрос – телесное и душевное здравие ее Ваночки, ее Машеньки. Между прочим, она, конечно, поддерживает и связь с общественной, всемирною жизнью – чтением журналов, избранным кругом знакомых, дружескими беседами со своим вторым я – мужем, который советуется с ней во всех трудных случаях его многоподвижной жизни. Светлым взглядом, ласковым словом сглаживает она морщины забот на лице его, а это, говорят, для истинной женщины удовольствие не из последних! Да, воспитывая отечеству в своих детях несколько достойных граждан, она в некотором отноше-

нии делается даже важнее своего благоверного: он приносит пользу только как отдельный индивидуум, она – дарит отчизне целую коллекцию полезных индивидуумов. Что же до безбрачной жизни мужчины, то она почти так же неполна, как жизнь девушки, и сколько ни трунят над старыми девами, – при виде этих бедных, бесцельных существ, берет меня только жалость, тогда как односторонние выходки старого холостяка, имевшего, как мужчина, без сомнения, не один случай найти себе подходящую пару, возбуждают во мне желчный смех.

ХІІІ. Где искать поэзии в природе?

Тихонько насвистывая про себя модный в то время романс «Скажите ей», Ластов рассеяно шел рядом с Наденькой, отбивая тростью пушистые головки одуванчиков, устилавших край дорожки.

– Что вы казните несчастных? – спросила гимназистка.

– Виноват! – очнулся поэт и, тут же заметив, о чем просит извинения, рассмеялся. – А вы думаете, им больно?

– Больно не больно, а все-таки жаль убивать хорошенькие создания природы, которые ни в чем не повинны. Вы, я вижу теперь, поистине – натуралист, холодный, бессердечный, и если сочиняете стихи, то, вероятно, одни саркастические; мне не верится, что вы и в душе поэт.

– Какая вы невероятная. Почему же вам это не верится? Объяснитесь ближе.

– Потому что, видите ли...

Наденька замолкла и опустила личико в знакомую нам уже розу, похищенную у пастушка.

– Потому что человек, погрузившийся, так сказать, по уши в сухой анализ жизненных процессов, должен поневоле потерять уважение ко всему прекрасному: встретится ему что прекрасное, возбуждающее в нем своей безукоризненной изящностью смутное, приятное чувство, – с кровожадностью хищного зверя бежит он за ножичком, за микроско-

пом, с холодной любознательностью разлагает прекрасное на составные части: надо же допытаться до основной причины приятного чувства; ну, и допытается, найдет, что виновата во всем какая-нибудь мелочь, «недостойная разумного человека»! Усмехнется он с сожалением над собою и прочтет себе мысленно мораль – впредь быть осмотрительнее и не увлекаться всякой милой безделушкой.

– Зачем же читать себе мораль? – возразил натуралист. – Если безделушка мила, то не грех и увлечься ею. Надо пользоваться всем в сей жизни бренной: «Man lebt nur einmal» Walzer von Strauss⁷⁸.

– Это ужасно! С возмутительным прилежанием разыскиваете вы значение всякого винта, всякой пружинки в механизме прекрасного творения и, опрофанировав его, извлекаете из него еще практическую пользу... Да это – уголовное преступление; это низ... непростительно!

– Что ж вы недоговорили? Вы высказываете чистосердечное убеждение, я не имею права обижаться.

– Все равно... Эта роза напоминает мне одну мысль у Белинского. Читали вы его статью о Лермонтове?

– О стихотворениях его?

– Да.

– Читал: одна из лучших статей Белинского.

– Он дает там определение слова «поэзия». – «Поэзия, – говорит он, – описывая розу, не заботится о ее химическом

⁷⁸ «Живешь только раз» вальс Штрауса (нем.)

составе. Поэзии нет дела до клетчатки, красильного вещества и прочее; она берет лишь изящный очерк цветка, нежные переливы красок, сладостный аромат его – и создает из всего этого новую розу, которая еще лучше, еще прекраснее настоящей». Представьте же себе, что мы станем разрывать цветок на части...

И, говоря это, Наденька приводила уже слова свои в исполнение:

– На части, вот так – сперва лепестки, потом чашечку... Видите, как этот лепесток измялся, посинел в моих пальцах? Где его чистый, розовый колорит, где его запах? Понюхайте...

Девушка поднесла лепесток к носу молодого человека, губы которого по какому-то странному случаю прикоснулись к пальчикам ее. Не показывая, однако, вида, что она подзревает в этом тайный умысел, гимназистка, удалив руку на безопасное расстояние, продолжала:

– Чувствуете, чем пахнет? Какою-то только сыростью, простой травой. Значит, уже от немногосложного анатомирования такими простыми орудиями, как человеческие пальцы, цветок лишился природной красоты и свежести. Если же изрезать его ножиком на мелкие кусочки, рассматривать эти кусочки под стеклышком, то улетучится и последняя доля поэзии, которую можно было бы найти еще в увядании нежного, душистого цветочка от грубых рук человека... Ах, Боже мой! – опомнилась тут барышня. – Что же я

сделала? Ощипала мою душку, миленькую, прекрасную розу! А все по вашей милости, господин натуралист! Извольте достать мне новую!

– Сию минуту?

– Сию минуту.

– А если здесь, в лесу, нет роз?

– Так хоть достойный суррогат. Мало ли здесь цветов?

Только поскорее, чтобы не отстать от других.

Ластов скрылся в чаще. Минуту спустя он вернулся с торжествующим видом, с ландышем в руке.

– Надежда Николаевна! *Convalaria majalis*!

– Я – *convalaria majalis*?

– И вы, и вот...

– О, первый ландыш! из-под снега

Ты просишь солнечных лучей,

Какая девственная нега

В душистой чистоте твоей! —

продекламировала Наденька, принимая цветок и упиваясь его нежным благоуханием.

– Первый ландыш – в июле-то месяце? – засмеялся Ластов.

– Ну да, вам бы все критиковать. И ландыш-то окрестили по-латыни: *convalaria*! Вот он и потерял уже половину своего природного запаха. Эх, вы, натуралисты!

– Натуралисты, Надежда Николаевна, вернее всякого

ненатуралиста понимают поэзию природы.

– Скажите! Мы – дети в естественных науках, так и не можем постичь всех затаенных красот природы; так, что ли?

– Вы вот шутите, а не знаете, что высказываете глубокую истину. Как вы полагаете: если вы ребенку прочтете что-нибудь из Гейне, из Шиллера, доставите ли вы ему этим большое удовольствие?

– Напротив: он зазевается и заснет.

– А прочтите ему сказку – он заслушается вас с таким упоением, что и не отвяжется от него. И мы, взрослые, не можем отрицать в фантастических небылицах сказок известной доли поэзии, но эта доля гомеопатична и поэзия из самых наивных, самых простых; тогда как Шиллер и Гейне читаются нами с таким же энтузиазмом, с каким дитя слушает глупую сказку.

– Ну, а если Шиллер или Гейне, из которых, сколько я знаю, ни тот, ни другой не был натуралистом, воспевают природу, то, в сравнении с вашей поэзией натуралистов, и это, в свою очередь, будет поэзией детской, наивной?

– Без сомнения.

– Ха, ха, ха! Какое бы стихотворение взять для примера. Да вот хоть, помните, у Майкова есть переводы из Гейне. Один из них начинается так:

От солнца лилия пугливо
Головкой прячется своей.

– Ну-с?

– Ну-с, эта самая лилия в лунном свете

Глядит, горит, томится, блещет
И, все раскрывши лепестки,
Благоухает и трепещет
От упоенья и тоски.

Это ли не поэзия, это ли не чувство? А, по-вашему, это только наивно?

– А то как же? Лилия, по словам поэта,

Глядит, горит, томится, блещет —

«Глядит»? Да чем же, позвольте узнать, какими органами глядит она, когда у нее нет глаз? «Горит»? Да отчего ей разгораться? От лунного-то света? Уж коли возвыситься температуре вращающихся в ней соков, то от знойного солнца, от которого она

пугливо

Головкой прячется своей.

– Ну, пошли анатомировать! Так вы, пожалуй, скажете, что она и упоенья и тоски не может чувствовать?

– А неужто может? У нее нет нервной системы. И после

этого стихи эти не наивны? Да они, говоря попросту, – ерунда!

Краска выступила на щеках Наденьки.

– Любопытно бы знать, какую поэзию натуралисты находят в цветке? Что видите вы в микроскоп, когда подложите туда кусочек растения?

– Растительные клеточки.

– Растительные клеточки! Скажите, как поэтично! Я уж представляю себе, как вы, сидя над микроскопом, затягиваете трогательный гимн:

Растительные клеточки
Родимые мои!
Все в ровные фасеточки
Сложились вы, как в сеточки,
Блондиночки, брюнеточки,
На голос: ай-люли, люди,
Ай-люли!

– Брависсимо! – рассмеялся Ластов. – Но шутки в сторону: растительные клетки – вещь очень интересная. Проследив зарождение, развитие клетки, определив ее значение в каждой части растения, вы словно прозреваете, вам раскрывается новый, неведомый мир внутренней жизни растения: процесс питания, движение соков по жилам растения, обмен в них веществ, дыхание посредством устьиц на нижней поверхности листьев – все это для вас полно поэзии. Вам дела-

ется понятной эта трепетная жажда тепла и света, с которой цветок обращается всегда в сторону солнца: как сердце человека наливается и зреет под лучами любви, так растение созревает под живительным огнем солнца. Наблюдайте и любуйтесь! Здесь также жизнь, также поэзия. Поэт, с его тонким чувством, подметил эту жизнь, эту поэзию, но, следуя общей людской слабости – мерить по своей мерке, одушевил растение человеческими ощущениями: упоением и тоской. Это мило, но сказочно мило, наивно.

Мечтательно слушала Наденька поэта-натуралиста.

– Так после этого, – сказала она, – вы не только растение, но и всякое произведение природы, какого-нибудь червяка или букашку, должны находить прекрасным и поэтическим?

– Всеконечно. Что из того, что вам, может быть, неприятно съесть с малиной полевого клопа, проглотить муху или взять в руки таракана? Ведь не могут же некоторые люди есть землянику – разве она оттого что-нибудь дурное?

– А для вас тараканы то же самое, что земляника?

– Да чем же они не хороши? Если разглядеть их повнимательней, то нельзя не признать известной изящности в очерке их крыльев, в лихо-скрученных усиках. Они в своем роде также прекраснейшие произведения природы.

Наденька лукаво засмеялась.

– Хорошо же, примем к сведению.

XIV. Прекраснейшие произведения природы

За несколько минут до вечернего чая гимназистка удалась в свою комнату поправить прическу. В окошко увидела она проходящую мимо, с блюдом земляники, Мари. Она позвала ее к себе.

– Душенька, нет ли у вас здесь тараканов? Швейцарка посмотрела на нее с непритворным удивлением.

– Тараканов?

– Да, прусаков, в кухне, что ли?

– Нет, фрейлейн, мы слишком опрятны, чтобы у нас могли завестись эти грязные твари.

– Как различны вкусы! А я знаю одного господина, который от них без ума. Так не достанете ли вы мне их?

– Да на что же они вам?

– Это мое дело. После увидите. Достанете?

– Достать-то почему не достать? Здесь недалеко, у соседей...

– Так, пожалуйста, Мари. Да смотрите, побольше, полную коробку. И никому не сказывайте.

– На этот счет будьте покойны. Куда же прикажете доставить вам их?

– Да мы сейчас чай будем пить; вызовите меня.

– Слушаю-с.

Качая головой, швейцарка отправилась исполнять странное поручение.

За чаем Наденька была развязнее чем когда-либо, шутила с молодыми людьми, шушукалась с Моничкой. В дверях показалась Мари и кивнула ей головой. Гимназистка вскочила и торопливо последовала за нею из комнаты.

– Что ж, достали?

– Как же, вот...

Посланница подала ей небольшую коробочку. Наденька подняла осторожно уголок последней: оттуда высунулось несколько подвижных усиков.

– Отлично! Как я вам благодарна, Мари! Теперь еще одно: есть у вас свежее тесто?

– Да вы никак хотите из них пирог спечь?

– Угадали.

Мари отвернулась с отвращением.

– Тьфу, мерзость! И вы едите тараканов? У вас это национальное блюдо?

– Нет, я-то не ем, – залилась в ответ Наденька.

– Так тот господин, про которого вы сказывали?

– Не знаю, ест ли он их, но он говорил, что очень любит тараканов; вот я и хочу сделать ему сюрприз.

– Кто ж это? Из наших пансионеров?

– Да, знаете, этот длинный, бледный.

– Г-н Ластов?

– Он самый.

– Нет, фрейлейн, в таком случае я это никак не могу допустить... Отдайте мне назад коробку, я выброшу ее.

– Да, милая моя, я ведь хочу ему только доказать, как тараканы противны...

– Но и других бы вместе с ним стошнило. И что за слава, посудите, пошла бы на наш отель, если б у нас допускались подобные вещи?

Наденька сделала плачевную гримасу.

– Но как же мне быть, душенька?

– Если г-н Ластов так любит тараканов, то отдайте их ему в коробке.

– Да они, понимаете, должны быть ему сюрпризом... Ах, знаете что, Мари? Подсуньте-ка их ему в карман! Вам оно удобнее: как станете обносить чай...

– Нет, фрейлейн, увольте меня.

– Марихен, миленькая, пожалуйста!

– Ответственность вы возьмете на себя?

– Всю, всю.

– Ну, хорошо. Не обвязать ли коробку розовым шнурком?

– Ах, да, непременно. Надо бы и надпись сделать. Где бы взять чернил да перо?

– Пойдемте в контору.

Минуты две спустя Наденька сидела опять в столовой, возле Монички. Вошедшая вслед за нею Мари наклонилась через плечо Ластова, чтобы поставить на стол хлебную кор-

зинку. Когда затем поэт стал доставать из кармана платок, то ощупал там нечто четырехугольное. Вытащив это нечто на свет, он с недоумением увидел в своих руках голубую коробочку, обвязанную розовой лентой; на крышке были начертаны красивым женским почерком слова: «Прекраснейшие произведения природы». С любопытством развязал он ленту и раскрыл коробку... Вкруг стола поднялся общий гвалт:

– Shwaben, Russen!

По скатерти разбежалось стадо прусаков. Более других, однако, перепугалась сама виновница маленькой катастрофы, Наденька: ей не без основания представилось, что буря всеобщего недовольства сейчас вот разразится над нею... К счастью ее, Ластов, заметивший ее крайнее смущение, великодушно отвел роковой удар с больной головы на свою – здоровую. Он поспешил переловить краснокожих беглецов, а потом обратился к присутствующим с извинительным спичем: «Он, дескать, натуралист и приобрел прусаков для физиологических опытов». Гимназистка вздохнула свободнее и, чтобы отблагодарить любезного молодого человека, была с ним целый вечер необычайно ласкова. Правоведу это немало не приходилось по сердцу, и когда стали расходиться, он взял приятеля под руку и вывел его на улицу. Рука об руку побрели они вниз по аллее.

– Мне надо серьезно переговорить с тобою, – начал Куницын. – Ты, cher ami, забываешь наш гисбахский уговор, а уговор лучше денег.

– Как так забываю?

– Да так: ты вплотную ухаживаешь за Наденькой.

– Ухаживаю? Ничуть. Что я *хаживал* с нею, например, к Уншпуннену – не отрекаюсь, но *хаживать* далеко еще не значит *ухаживать*. Да и кто ж тебе велел давеча бросить нас?

– Кто! Разве ты не видел, как эта Саломонида почти насильно взяла у меня сюртук да шляпу и давай Бог ноги? По-неволе побежишь за нею. Да еще и угощай ее: выпила на мой счет три чашки шоколаду.

– Ну, за то я тебе, пожалуй, заплачу. Ведь, по-твоему, и в этом случае виноватый – я?

– Разумеется, ты. Ты не смел покидать ее...

– Да если *она* меня покинула? И кто вас знает: может быть, вы даже заранее сговорились с нею; я имею, в свою очередь, полное право ревновать к тебе.

– А что ж, – заметил политичный правовед, – ведь и Мо-ничка в своем роде весьма и весьма аппетитный кусочек: ножка самая что ни есть миниатюрная, а *сoup de pied*⁷⁹ высочайший. Умом она также перещеголяла Наденьку: отпускает такие каламбуры и экивоки...

– Так она тебе нравится?

– Да как же не нравиться...

– Так вот что: по старой дружбе я готов принести тебе жертву – поменяемся нашими предметами; ты возьми себе

⁷⁹ пинок ногой (*фр.*)

Моничку, я возьму Наденьку.

– Нет, к чему? – отвечал в том же шутливом тоне правовед. – Я жертв не принимаю. Но послушай, друг мой, – продолжал он серьезнее, – опять-таки повторяю: ты слишком волочишься за Наденькой; когда я, по милости ее кузины, убежал от нее, ты также не смел оставаться с нею: этого требовала уже деликатность.

– Какую ты дичь городишь, душа моя! Есть ли в этом хоть крошка логики: ты побежал спасаться – беги, значит, и я. Да не хочу! Мне приятно под дождем. А кто ж виноват, что и Наденьке случайно нравится стоять под дождем?

– Так ты должен был, по крайней мере, держаться от нее в стороне.

– Какое тут держаться в стороне! Едва только сошлись мы с нею под деревом, как подросли Змеин с Лизой; вчетвером и отправились далее. Сам ты знаешь, как неразлучны те двое. На мою долю оставалась, значит, одна Наденька, на ее долю – один я. Да что ж я отдаю тебе еще отчет! Очень нужно.

– Но ты, вероятно, наговорил ей кучу комплиментов: за чаем она просто-таки увивалась около тебя.

– А знаешь, почему?

– Потому, что это она подсунула мне тех тараканов, что наделали столько шуму. В благодарность, что я не выдал ее, она и полюбезничала со мной.

– Что она подсунула тебе тараканов, доказывает только, что она обращает на тебя внимание, и я сам был бы очень

доволен...

– Если б и тебе их подсунули? Что ж, я, пожалуй, скажу ей.

– Нет, перестань острить. Но в том-то и дело, что она не только обращает на тебя внимание, а явно благоволит к тебе...

– Ты находишь?

– *Cela saute aux yeux*⁸⁰.

– Это меня радует: и она мне сильно нравится. Куницын высвободил руку из-под руки приятеля.

– Это еще что за новости! Она тебе не смеет нравиться!

– Ха, ха, ха! Не смейся. Разве можно кому воспретить восхищаться чем бы то ни было? Если б она была твоей женой, то и тогда я имел бы полное право находить ее милой, любезной, прекрасной. А теперь подавно. Знаешь, я хочу сделать тебе предложение: давай ухаживать за нею поочереды ты – сегодня, я завтра, ты послезавтра, и т. д.; в несколько дней окажется, на чьей стороне перевес; тогда другой отступится добровольно. По рукам, что ли?

– Вот выдумал! Как бы не так. Она уже по уговору моя, значит – и толковать нечего.

– Так слушай, милый мой. Ты сам согласен, что я нравлюсь ей более твоего?

– К чему же тогда наш уговор? Ты ей будешь только надоедать...

– Да уж она по контракту моя, а всякие контракты должны

⁸⁰ Это очевидно (*фр.*)

чтиться свято.

– Что ты за пустяки говоришь. Для чего заключаются контракты? Для какой же нибудь цели?

– Ну да.

– А если цель ими не достигается? Тогда они распадаются сами собой.

– Это все парадоксы, софизмы!

– Ни то, ни другое, а строгая логика. Так, стало быть, и знай, что наш контракт для меня уже не существует, и я вперед не намерен избегать Наденьку.

– Ты серьезно это говоришь?

– Еще как: с сжатыми губами, с сдвинутыми бровями; в темноте тебе только не видно.

– В таком случае... До сегодняшнего дня я считал тебя человеком порядочным, благородным; теперь принужден изменить свое мнение!

– Ты позволяешь себе личности; но ты разгорячен, и на сей раз я не взыскиваю. Сегодня нам, видно, не сойтись, так лучше – разойтись. До свидения.

Он протянул оскорбленному руку. Тот не взял ее и, провормотав: «Ладно же!» – отошел поспешными шагами.

Весело посвистывая, Ластов побрел следом. Не доходя до отеля, увидел он сквозь окружающую темь особу в кринолине, следовательно, женского пола, прислонившуюся спиной к ограде. Он хотел пройти мимо.

– Herr Lastow, – послышался тоненький голосок таин-

ственной особы.

Молодой человек остановился.

– Никак вы, Мари?

– Я-с...

Говорящая подошла к нему на полшага, и при помощи слабого света, падавшего из ближних окон, он различил черты молодой горничной.

– Простите меня, господин Ластов, – начала она, – но я, право, не так виновата, как вы, может, думаете...

– Виноваты? В чем это? Я вас не понимаю.

– Да вот я насчет тараканов...

– Ба! Так это вы имели любезность препроводить их мне в карман?

– Простите, ради Бога! Я ведь не от себя, а по неотступной просьбе младшей Липецкой...

– Великодушно прощаю! – отвечал, смеясь, Ластов и сделал вид, будто хочет обнять ее.

К удивлению его, девушка не тронулась с места, а только прошептала:

– Ах! Увидят...

– Темно, никто не увидит, – успокоил он ее и уже смело обнял и поцеловал ее.

Пылая и трепеща, как осиновый лист, она с любовью прижалась к нему.

– Милая моя, ненаглядная! – шептал он, целуя ее и в лоб, и в глаза, и в губы.

Робко отвечала она его ласкам.

– Так вы меня немножко любите?

– Много, вот сколько! – отвечал он, распростирая в обе стороны руки.

– Но я простая, вы – барин... Вы не можете любить меня искренне, как следует... За что же вам и любить меня?

– Как за что? Таковую-то милую, добрую? Ведь ты не случайно встретила меня, ты нарочно обождала меня?

– Да-с, но я хотела только попросить у вас извинения за тараканов. Я не знала, что вы такой неудержимый...

И стыдливо припала она к нему. Он с нежностью погладил ее по разгоряченной молодой щеке. В верхушках деревьев зашелестел ветерок. Девушка переполошилась.

– Ах, кто-то идет! Прощай, мой милый, бесценный!

Она исчезла в темноте. Простояв несколько времени, как ошеломленный, на одном месте, Ластов неверными шагами направился к отелю. Тихо поднялся он по лестнице и вошел в свой помер. Змеин с книжкой в руках лежал уже в постели.

– Ты откуда? – встретил он товарища, когда тот, бросив на стол трость и шляпу, опустился, тяжело дыша, на диван. – Красный, как из бани. Верно, плясали или в горелки играли?

– Да, то есть нет...

Но Змеин, не обождав ответа, углубился уже в свою книгу.

XV. Естественно-исторические наблюдения над улиткой и неожиданный исход их

Сама судьба, казалось, взяла Куницына под свое крылышко, ибо на следующий же день доставила ему благовидный предлог к открытому антагонизму с его более счастливым соперником.

Около полудня несколько гостей пансиона *R.*, в том числе и наши русские, предприняли, по обыкновению, маленькую прогулку сообща. На этот раз конечную точкою странствия был избран Гольдсвиль – небольшой холмик, также с развалиной на вершине, с которой имеется живописный кругозор на интерлакенскую долину.

Ластов, желая задобрить разревновавшегося правоведа, даже не поздоровавшегося с ним поутру, занялся было Моничкой, но та без околичностей отослала его к Наденьке, а к себе подозвала Куницына.

– Вчера при такой же прогулке вы занимали Наденьку; *a present il n'est plus que juste de changer les roles*⁸¹.

Что мог ответить на это благовоспитанный молодой человек? Разумеется, ему оставалось лишь уверить, что он нима-

⁸¹ В настоящее время это больше, чем просто поменяться ролями (*фр.*)

ло не скучал и почитает за великую честь оказываемое ему барышней предпочтение.

Достигнув Гольдсвиля, общество, как резвое стадо диких коз, принялось врассыпную взбираться на лесистую вершину холма.

– Паладин мой, за мной! – крикнула своему кавалеру Наденька и, приподняв край платья, побежала вверх по самому крутому месту ската. Когда паладин поравнялся с нею, она слегка смутилась.

– Вы, Лев Ильич, не удивляйтесь титулу, которым я вас осчастливила; но каждая из нас имеет своего адъютанта. Лиза – Александра Александровича, Моничка – Куницына, я – вас.

– И я официально могу называть себя вашим паладином?

– Нет, к чему?.. Достаточно, если вы знаете это про себя, чтобы тем усерднее прислуживаться.

– Но всячески вы обязаны теперь дать мне в удостоверение моего звания вещественный знак.

– Какой это?

– Сорвать цветок и вдеть мне его в петличку. – Видите, какой вы ненасытный! Протянула вам палец – так подай и всю руку. Когда вы окажетесь паладином в полном смысле слова – *un chevalier sans peur et sans reproche*⁸², тогда, быть может... Вы как долго остаетесь здесь, в Интерлакене?

– Неделю, я думаю, еще пробуду.

⁸² Рыцарь без страха и упрека (*фр.*)

– Ну, значит, есть время, когда испытать ваше паладинство... А! Вот и тень. Как славно!

Молодые люди добрались до опушки леса и, вступив в его прохладную сень, должны были наклоняться и отбиваться руками от густых ветвей, заграждавших им дорогу. Сквозь золотистые, солнечные верхушки кротко синело безоблачное небо. В одиночном солнечном луче, пробившемся сквозь густую листву и стоявшем светлой полосой в воздухе, роились весело мошки. Кругом разливался свежий, смолистый запах.

Наденька остановилась. Вдыхая полной грудью душистую прохладу чащи, она взглядом знатока окинула окружающую зелень, игравшую в самых разнообразных оттенках зеленого цвета, от золотистого гумигута до темнейшего индиго. Тут заметила она на стволе стройной березки раковину, плотно присосавшуюся к белой коре.

– Ах, Лев Ильич, посмотрите: улитка. Для чего она забралась сюда?

– Дневное пропитание добывает. В настоящую минуту она предается, после тяжких трудов, полуденной сиесте. Под своим известковым щитиком она, как страус, запрятавши голову в песок, воображает себя в полной безопасности.

– И лежит, вероятно, свернувшись, как младенец в люльке, – подхватила Наденька, – крошечные глазенки закрыты... Ах, Лев Ильич, как бы это подсмотреть ее?

– Нет ничего проще: дотроньтесь до щитика; как выглянет

– вы ее и цап-царап.

– А! Вот вы какие. А если укусит? Ластов расхохотался.

– Разве младенцы кусаются? У них нет зубов. Наденька вооружилась смелостью и прикоснулась пальцем до верхушки раковины; потом в страхе отдернула руку.

– А ну, все же укусит?

– А уверяли, что не трусиха. Позвольте, я покажу вам, как обходиться с этим народом.

Он отодрал раковину от кожи дерева; слизень, пуская пузырьки, ретировался во внутренность своего каменного жилища.

– Доброй ночи, сударыня! – засмеялась девушка. – А вы, Лев Ильич, говорили, что выглянет?

– Погодите немножко; дайте ей оправиться от первого волнения – непременно выглянет. Любопытство свойственно и этим крошкам: успокоившись, она захочет познакомиться ближе с неведомою силой, оторвавшею ее от родной почвы.

– Так мы вот как устроим, – сказала Наденька, садясь в траву и раскладывая перед собою платок. – Вот так, положите ее сюда...

Ластов, опустившись на колени против гимназистки, поместил раковину на средину платка.

Улитка не дала ждать себя: соскучившись в крайнем углу своей узкой кельи, она, к немалому удовольствию Наденьки, стала пятиться назад.

– Смотрите, смотрите, лезет... – говорила девушка шепотом, точно опасаясь испугать слизня, – почти совсем высунулась. Дохнуть на нее?

– Дохните.

Наденька наклонилась над слизнем и осторожно подула на него. Животное перестало вылезать.

– Что ж остановились, m-Це, испужались?

– Нет, она нежится в вашем дыхании.

– Полно вам глупости говорить. Дайте-ка какой-нибудь стебелек. Мерсі. Пощекотать ее...

Кончиком поданного ей стебля гимназистка дотронулась до белой, слизистой спинки животного. Уколотое довольно чувствительно, оно, пуская пузыри, опять юркнуло в глубину своего домика.

– Ах, бедная! – сострадательно воскликнула барышня. – Что, если я уколола ее до смерти? Ведь шкурка у нее такая нежная...

– Нет, это народ живучий; только испугали не на шутку: моллюски нервозны.

Наденька принялась опять дышать на раковину:

– Моллюск, моллюск, выставь рожки, Я дам тебе на пирожки.

Видите, какой послушный; должно быть, пирожка захотелось.

Слизень, действительно, высунулся до половины и, выставив вперед свои четыре острые рожка, начал осторожно ощу-

пывать ими около себя воздух. Убедившись, что врага, настрашавшего его, нет уже поблизости, он решился окончательно выползти из убежища.

– Послушайте; – начала Наденька, – это у них в самом деле рога, как например, у коров, или что другое?

– Нет, не рога. Два верхние рожка – глаза; видите: черные точки на кончиках? Это зрачки.

– Да улитки должны быть очень близоруки: эта даже нас не видит.

– Да, глаза у них не столько для зрения, как для типа.

– Для типа?

– Да, как очень многое в природе, как, например, клыки у людей. Млекопитающие характеризуются вообще тем, что имеют зубы всех трех рядов: коренные, резцы и клыки; мы – млекопитающие, ну, и нам даны клыки. Употреблять же их в дело нам никогда не приходится, потому что клык – зуб хищный, служащий для удержания добычи, а когда же мы ловим добычу зубами?

– А, может быть, клыки даны нам для красоты? Представьте себе, что у нас отняли бы клыки – на их месте осталось бы пустое пространство?

Натуралист улыбнулся.

– Если даже вырвать зуб, то пустое место понемножку зарастает. Следовательно, красота не нарушается.

– И то правда. Так верхние рожки у улитки, говорите вы, клыки?

Ластов рассмеялся.

– Глаза.

– Ах, да. Ну, а нижние?

– Это щупальца, которыми она, как слепец палкою, рекогносцирует окрестность. Они у нее необычайно чувствительны; чуть, видите, дотронется случайно до платка, как, точно обжегшись, втягивает их опять в себя.

Наденька не отвечала: все внимание ее сосредоточилось на искусных эволюциях слизня. Необеспокоиваемый более своими зрителями, он почти всем корпусом выкарабкался из раковины, повернулся брюшком к земле, потянул себе домик на средину спинки и пополз по платку, верхними рожками поводя в воздухе, нижними ощупывая почву, на которую собирался ступить. Раковина, как паланкин на хребте слона, мерно колыхалась на нем вправо и влево.

– Если бы и мы могли носить свои дома на себе, – шутливо заметила Наденька, – всегда был бы случай укрыться от опасности...

Она и не подозревала, какую глубокую истину высказывала этими словами, как ей самой в эту минуту было необходимо убежище. Юный поэт глядел на нее такими восхищенными глазами... Да и как было не залюбоваться! От наклонного положения тела кровь поднялась в голову девушке и разлила по всему лицу ее светлое сияние; ожиданием полураскрытые, свежие губки показывали блестящий ряд перламутров; темно-синие глаза светились из-под длинных игл

ресниц детским любопытством, детской невинностью; широкополая шляпка, небрежно насаженная на остриженные в кружок, пышные кудри, эффектно оттеняла верхнюю половину лица; один резвый локон, своевольно отделившийся от толпы товарищей, равномерно колыхался в воздухе, тихонько ударяясь всякий раз о цветущую рдеющую щеку...

Жар и трепет пробежали по жилам юноши, в глазах у него зарябило.

– Как вы хороши! – воскликнул он, жадною рукою обвиняя стан девушки и с горячностью целуя ее.

Наденька отчаянно вскрикнула, отбросилась назад и в тот же миг была на ногах. Не успел он опомниться, как ее уже не было, и только легкий шелест ветвей говорил, в какую сторону она скрылась.

«Так-то творятся глупости! – рассуждал сам с собою поэт, мрачно насупив брови и не двигаясь с места. – Ну, к чему, к чему было это делать? Сидит она против тебя так спокойно, так доверчиво, и вдруг ты, ни с того, ни с сего, точно белены объевшись... Тьфу ты пропасть! Непростительно глупо!»

Рассуждая так, он, очевидно, не обдумал, что по его, натуралистической теории, всякое действие простительно, ибо не в воле человека, и если он, Ластов, повинуюсь обстоятельствам, сделал глупость, то глупость простительную.

Страхнув слизня с его раковиной с забытого Наденькою платка и спрятав последний в карман, герой наш, для ободрения себя, заломил набекрень шляпу и, беспечно насви-

стывая лихую студенческую песню, вышел из опушки. Но когда он стал подходить к обществу, расположившемуся на скате, под руиной, и глянул в несколько лиц, озиравших его подозрительными, чуть недружелюбными взглядами, свист невольно замер на губах его.

Дело в том, что когда Наденька выскочила из леса, то тут же бросилась к сестре, обвила ее руками и, прошептав что-то, залилась слезами.

Подбежала Моничка.

– Что с нею?

– Так, пустяки, – отвечала Лиза, – он поцеловал ее.

– Кто? Куницын?

– Какой Куницын! Ластов.

Глядя плачущую по головке, экс-студентка старалась утешить ее.

– Из чего же тут убиваться, глупенькая? Ну, поцеловал – большая беда! Что такое поцелуй? Прикосновение губ – не более.

Но аргумент сестры не успокоил гимназистку; слезы ее потекли даже будто обильнее.

Подошли другие, пошли расспросы. Ни Лиза, ни Моничка не выдали настоящей причины горя плачущей, но все и без того догадывались, что тут замешан как-нибудь молодой поэт, с которым, как заметили они, девушка вошла в чашу. Веселое настроение общества расстроилось. Брони тщетно расточал свои доморощенные остроты – разговор не клеил-

ся. Собрались домой.

По обе стороны героини дня шли Лиза и Моничка. Последняя, для вящего успокоения кухни, изливалась целым потоком обвинений на «необтесанного университетанта».

– Если бы ему *au moins*⁸³ позволили, – заключила она, – а то сам, без спроса!

Непосредственно за девицами шел правовед. Из речей их подхватил он несколько крох и, тонким чутьем обуянного ревностью сердца, без дальнейших объяснений, смекнул в чем дело. Молниеносные взгляды, с которыми он оборачивался на шедшего сзади соперника, красноречиво свидетельствовали о вулкане, клочотавшем в груди его.

Арьергард шествия составляли наши натуралисты, речь которых вращалась около той же темы.

– Только-то? – говорил Змеин. – А я думал невесть что.

– Да разве этого мало? Девушка девушке рознь, милый мой. Вот хоть Мари, что убирает нашу комнату, – прехорошенькая, да и преблагонравная, а целуется так, что любо.

– Вот как! Ты испытал?

– Д-да... Но тут мне и перед собою стыдно, и за Наденьку обидно... Слезы ее так вот и жгут, так и душат меня.

– Это от созвучия: она льет слезы, а его они душат!

– Нет, не шутя, мне страшно досадно за нее. Может же человек при всем хладнокровии делать такие несообразности!

– Зато что за тема для элегии, – продолжал подтрунивать

⁸³ по меньшей мере (*фр.*)

материалист. – Счастливый вы, ей-Богу, народ, сочинители: из всякой напасти извлекаете прибыль. Вот тебе и начало:

О, слезы женщины любимой!

или

О, слезы девы дорогой!

смотря по климату, какая потребуется рифма.

– Остри, брат, остри! Элегию-то я, вероятно, напишу, кстати, воспользуюсь даже одним из предлагаемых тобою стихов; но поверь мне: будь ты на моем месте – самого бы ведь стала грызть совесть.

– Не думаю; угрызений совести вообще никогда не следует иметь, потому что во всем виноваты обстоятельства, не мы. Что же до тебя, то ты вовсе не испортил своего дела, напротив, даже подвинул его: поцелуй – лучший посредник между влюбленными.

– Да кто же влюблен!

– Оба вы влюблены. Ты жаждал любви и вот нашел источник для утоления своей жажды. Что Наденька по уши втюрилась в тебя...

– Тс! Пожалуйста, не так громко.

– Что она влюблена в тебя, явствует из всего ее обращения с тобой. Стала бы она так безутешно плакать, если бы человек, обидевший ее, по ее мнению, так кровно, не был ей

дорог? Маленький диссонанс, вкравшийся в ваше сердечное созвучие, даст тем рельефнее выказаться последующей гармонии. Насильно похитив у нее поцелуй, ты как бы дал ей этим право и на себя. Погляди-ка, как она теперь сама станет бегать за тобою.

– Не верится что-то.

– Смело верь. Где дождь, там и ведро. Не разразись над вами этой грозы, вы, пожалуй, скоро прискучили бы друг другу; теперь атмосфера опять очистилась до поры до времени, и благодушничанья могут возобновиться. Если солнышка не видать покуда, то только потому, что оно кокетливо за облачком прячется.

XVI. Перчатка брошена

Подложив себе под ухо вместо изголовья руку, Змеин отдышал после сытного пансионского обеда на своем диване. Теплый солнечный воздух, мягкими волнами вливавшийся из сада в открытые окна, располагал к лени и неге. На полу около дивана лежали недорезанная книга и ореховый нож. Но молодому материалисту не суждено было на этот раз воспользоваться послеобеденным покоем: в коридоре раздались быстрые шаги, дверь с шумом растворилась и вбежал Куницын. Окинув комнату быстрым взором, он приблизился к отдыхавшему и тронул его за плечо. Змеин открыл глаза и вопросительно уставился на неожиданного гостя.

– Прошу извинения, если помешал вам, – начал тот, – но дело срочное, не терпящее отлагательств.

Змеин оперся на локоть.

– Пожар?

– Не пожар, но...

– Так помер кто скоропостижно?

– И то нет...

– Так что же? Не хотите ли присесть? Стулья у нас, как видите, имеются.

– Благодарю-с, не до того. Чтобы обратиться прямо к делу: я надеюсь, что вы не откажете мне быть моим секундантом?

Змеин с непритворным удивлением вымерил говорящего:

не шутит ли он? Но темная туча, облежавшая чело правоведа, уверила его в противном.

– Я – секундантом? Это два понятия несовместные.

– А я рассчитывал именно на вас.

– Бывают же фантазии! Если вам уже так приспичило драться, то отчего бы вам не обратиться с вашим предложением к Ластову?

– Да с ним-то я и дерусь.

– Гм, да, драться и быть в то же время секундантом противника – действительно, не совсем-то удобно. Но почему бы вам не пригласить одного из здешних немцев – они все заклятые любители дуэльных упражнений? Чего лучше Брони, дерптский студиозус?

– Благодарю покорно! Я с этой немчурой не знаюсь. Так я могу рассчитывать на вас, m-г Змеин?

– Чего для вас не сделаешь! Не знаю только, чем я заслужил такое предпочтение с вашей стороны: кажется, не давал к тому ни малейшего повода. Нельзя ли, однако, узнать, из-за чего у вас началось с ним дело?

– Дело еще не начиналось; я только собираюсь вызвать господина Ластова.

– Да за что же? Неспроста же так, здорово живешь?

– Это до вас не касается, это мое дело.

– Какой вы шутник. После этого вы, пожалуй, и противника вашего не посвятите в тайну вашей ненависти: «Дерись, мол, да и кончено, осерчал да и все тут, а уж за что, про что

– узнает могила одна».

– Вы, м-г Змеин, будто не знаете, что милый друг ваш позволил себе с младшей Липецкой?

– Знаю – поцеловал ее. И отлично сделал: она пре-милень-кая девочка.

– Вы нарочно не хотите понять меня! Пусть бы он целовал ее, если бы имел на то право, а то ведь мы заключили контракт – помните, на Гисбахе?..

– Оно конечно! Зачем же вы не заключили вашего контракта по установленной форме, на бумаге соответственного достоинства? Сами виноваты: кому же, как не правоведа, знать чиновные кляузы?

– Да и с общечеловеческой точки зрения такой поступок был в высшей степени неделикатен, негуманен, когда со стороны девицы не было дано к тому ни малейшего повода.

– А почему вы знаете? Да она уже тем виновата, что так мила. Губки у нее свежие, полные, так и просятся на поцелуи – вот вам и повод. Признайтесь-ка откровенно, любезнейший, что вам только до смерти завидно, что вы не первый догадались поцеловать такую душку? Да-с, что делать, опоздали. Теперь она уже так скоро не поддастся.

Куницын скосил презрительно губы.

– Остро, необыкновенно остро! Итак, позвольте же наконец узнать, могу я рассчитывать на вас или нет, согласны вы быть моим секундантом?

– Итак, согласен; то есть согласен *быть* им, но не *буду* им.

– Как понимать ваши слова? Опять остроумничаете.

– Я хочу только сказать, что при всем желании с моей стороны мне не придется быть вашим секундантом, потому что Ластов настолько все-таки рассудителен, что не станет рисковать жизнью из-за таких пустяков.

– Ну, так я найду себя принужденным прибегнуть к иным средствам!

– Другими словами: «Двоим нам тесно на сей планете – или он, или я! А не хочет драться, так заколю из-за угла». Так, что ли?

– Если угодно, так.

– Ничуть не угодно! Закадычного моего друга собираются зарезать из-за угла, и чтобы мне это было угодно? Нет, уж лучше драться; там хоть шансы равны. Но вам, я думаю, все равно, теперь ли я схожу за ним или немного погодя?

– А что?

– Да так, соснул бы маленько.

– Вам сон дороже чести вашего ближнего!

– Да ведь драться Ластов не будет; так раньше, позже ли не драться...

– М-г Змеин! Вы, как я вижу, изволите смеяться надо мною. Это может обойтись вам дорого.

– Ой-ой, не замайте! – зевнул Змеин, поднимаясь с дивана. – Я не знал, что вы так кровожадны. Сию секунду несусь на крыльях мести. Позвольте ли вы мне хоть одеться?

– Оденьтесь, – угрюмо проворчал правовед, отходя к ок-

ну.

– Где бы найти его? – говорил, облачаясь, Змеин.

– Он, кажется, отправился по аллее с тетрадью под мышкой.

– А, да – с альбомом. Хотел срисовать Интерлакен с того берега Аар. Ну-с, скажите-ка на прощанье: не жаль вам посягать на жизнь юноши во цвете лет, подающего великие надежды, которого сами вы еще так недавно считали своим лучшим другом?

– Увольте, пожалуйста, от ваших нравоучительных сентенций, гп-г Змеин. Вы, надеюсь, взялись серьезно исполнить мою просьбу?

– Еще бы. Нарочно надел башмаки, сюртук...

– Так до свиданья. Теперь три четверти четвертого, – прибавил он, справляясь с часами. – Ровно через час, в три четверти пятого, я захожу опять сюда.

– Можете. Для вящего удостоверения преступника в серьезности ваших намерений, не дадите ли вы мне с собою перчатки?

Не достаивая вопрошающего ответа, Куницын с достоинством вышел из комнаты.

Виновника предстоящего кровопролития Змеин отыскал действительно на той стороне Аар, лежащим под тенистым деревом и рисующим в альбом женскую головку. Полюбовавшись некоторое время через плечо друга рождающимся произведением, принимавшим все более и более зна-

комые черты, Змеин промолвил:

– Недурно.

Живописец вздрогнул и рукавом накрыл рисунок.

– А! Это ты?

– Как видишь. Ты Интерлакен срисовываешь? Легкий рукав окрасил щеки Ластова.

– Так, от нечего делать...

– Что ж, очень может быть, что весь Интерлакен слился для тебя в одну эту личность. Знаешь, ведь я к тебе с уморительным предложением.

– Да?

– Все этот шут гороховый, Куницын. Вообрази... Да ну, отгадай для смеха, с чем он прислал меня к тебе? Ни за что не угадаешь.

– Вероятно, с вызовом?

– Как это ты догадался? И ведь что всего милее – меня прочит себе в секунданты! А? Что ж ты не помираешь со смеху?

– Я этого ожидал: он сильно влюблен и вспыльчивого темперамента. Передай ему, что я принимаю его вызов.

– Лев Ильич, поэт, что с тобой? Не для новой ли уж элегии? Дуэль уже сама по себе нелепость, а тут и причины порядочной нет.

– Причины-то нет, но есть цель: пустить себе кровь. По крайней мере, я не нахожусь в необходимости обращаться за этим к цирюльнику: тот, пожалуй, пустил бы не слишком

много; здесь количество ее в моих руках.

– Другими словами, ты хочешь дать себя ранить?

– Именно. Кровь все в голову кидается, как раз еще удар приключится. Да хочется и некоторую боль ощутить – хоть этим способом наказать себя.

– Это в подражание средневековым монахам, истязавшим свое тело? Что ж, вольному воля. Ты дерешься, конечно, на холодном оружии?

– Конечно. Из-за одного поцелуя жертвовать собою не приходится! – прибавил он с печальной улыбкой.

– Ну, и из-за нескольких бы не стоило. А если правовед будет настаивать на пистолетах?

– Он не имеет на это права: я вызванный и имею потому выбор оружия. Притом заметь: я дерусь не на рапирах, а на эспадронах – оно безопаснее.

– Ну, за это хвалю. В секунданты себе ты, вероятно, возьмешь Бронна?

– Да, а то кого же? Сейчас отыщем его.

Удалый корпорант, которого друзья нашли в пивной за кружкой пенистого мюнхенского, был, видимо, тронут сделанным ему предложением.

– За что спасибо, так спасибо! Позвольте угостить вас за то пивцом. Kellner, noch ein Paar Schoppen⁸⁴! Пускайся в дальние странствия, я с баснословным сокрушением сердца оставлял родные поля брани, плохо надеясь на свою счаст-

⁸⁴ Официант, еще пару пинт (нем.)

ливую звезду; но Провидение, видно, сжалилось, послав мне вас. С кем же, господин Ластов, у вас дело?

– С Куницыным.

– С фертиком-то этим? Bravo! Надеюсь, вы поддержите нашего брата-студента. Я на него, признаться зол: он как-то назвал мою корпоративную шапку арлекинским колпаком – я потребовал объяснения; он извинился незнанием моего студентского звания, ибо никогда, говорит, не видал еще таких баснословно пестрых шапок; но говорил он это с такой улыбочкой, что не могло быть сомнения, что он подтрунивает. Я махнул рукой: что связываться со всякою швалью! Но теперь я полагаюсь на вас, господин Ластов: вы отомстите за меня?

– Извольте.

– Благодарю вас. А секундانت фертика кто?

– Вот – Змеин.

– Чудесно. Своя, значит, компания. Он отвел поэта в сторону.

– Вы, конечно, на pistolетах?

– Нет, на эскадронах.

– Что вы! Ну, хоть на рапирах?

– Нет, я на эскадронах дерусь лучше и потому выбрал их.

– Ничего с вами не поделаешь. Извинения просить вы, разумеется, не намерены?

– Нет.

– А во сколько ударов вы полагаете назначить стычку? Ко-

нечно, не менее как в семь?

– Мне все равно. Я уполномочиваю вас в этом отношении устроить дело по благоусмотренью.

– Уж положитесь на меня: выторгую наибольшее число. Теперь оставьте нас одних с секундантом вашего противника: надо сговориться с ним насчет места и времени поединка.

– Да разве мне нельзя быть при том?

– Положительно нельзя. Как это вы, пробыв четыре года в университете, не знаете даже этого? Можете, впрочем, допить свою кружку.

Ластов воспользовался последним советом и затем вышел.

– Итак; – начал Брони, садясь против Змеина, – первым делом позвольте предложить вам вопрос: не раздумал ли ваш дуэлянт драться?

Александр улыбнулся.

– Если он раздумал, я так бы и объявил Ластову и вас все не потребовалось бы. Поэтому вопрос ваш, по крайнему моему разумению, совершенно лишний.

– Все своим чередом, сударь мой, все своим чередом; без формальностей нельзя.

– Почему же нельзя?

– Потому, что они – основной букет дуэли.

– Для меня это слишком высоко. Ну, да все равно, давайте по пунктам. Вопрос теперь, вероятно, за мной?

Корпорант сделал движение нетерпения.

– Хотел бы я знать, чему вас учат в петербургском университете? Вы должны спросить меня: не решился ли мой дуэлянт просить извинения у вашего?

– Хорошо-с: не решился ли мой дуэлянт просить извинения у вашего?

– Да не то! С какой стати вашему дуэлянту, обиженному, просить извинения у обидчика?

– А! Значит, наоборот: не решился ли ваш дуэлянт просить извинения у моего? Но опять-таки, к чему этот вопрос! Я и без того знаю, что Ластов не намерен просить извинения. Да и если б хотел – вы думаете, Куницын удовлетворился бы? «Извини, мол, что поцеловал красотку, до которой ни тебе, ни мне равно дела нет; никогда не буду».

– А! Так вот причина их ссоры. В этом случае Ластову, конечно, не приходится просить извинения. Теперь новая статья: Ластов, как вызванный, имеет выбор оружия, и выбор его пал на эспадроны. Надеюсь, что дуэлянт ваш не может иметь ничего против этого?

– Если Ластову предоставлен выбор, то что же может иметь против его выбора противник? По-моему, опять лишний вопрос.

Брони, несколько задетый насмешливым тоном собеседника, насупил брови, однако воздержался от прямых знаков неудовольствия.

– Теперь о числе ударов, – сказал он. – Я думаю, как искони принято, положить штук семь.

– К чему такую кучу? Одного более чем достаточно.

– Помилуйте! Видано, слыхано ли, чтобы люди дрались на один удар? Эдак нас всякий осмеет.

– Осмеет-то осмеет, в этом нет сомнения, но осмеет не за малое число ударов, а за самые удары, то есть за дуэль. Ну, да чтобы живее покончить, накинem еще один: пусть будет два и дело с концом.

– И я сбавлю маленько, – сказал корпорант, – хоть семь ударов и самое законное число, но так как вы человек такой несговорчивый, то надо уступить: порешим нанести – по три на брата.

– По одному, я думаю, совершенно достаточно.

– А если один из них будет побит оба раза?

– Тем хуже для него: значит, дерется слабее противника, неужели и в третий раз подставлять спину?

– Нет, как хотите, – перебил Брони, – а два удара – скандал; совестно и секундантом быть. Куда ни шло – пять.

– Мы как торговки на рынке, – сказал Змеин. – Разве уж еще прибавить? Бог любит троицу.

– Ну, да еще один? Четыре? Тогда уступка будет одинакова с каждой стороны.

Змеин махнул рукой.

– Будь по-вашему!

– Насилу-то поладили! – вздохнул из глубины души удалый корпорант и сделал глубоки глоток из стоявшей перед ним кружки. – Теперь о месте стычки.

– Проще всего, – предложил Змеин, – устроить дело на дому, в нашей комнате: недалече по крайней мере ходить.

– Нет, против этого я положительно протестую. Во-первых, в комнате тесно и низко, а потом – что за дуэль в четырех стенах? Поединок должен происходить где-нибудь в баснословной просеке, тенистой, душистой, хоть бы за Ругеном.

– Можно и за Ругеном. Только бы нас не накрыли? Ведь и здесь подобные шалости запрещены.

– Насчет этого будьте покойны, отыщу такое место, куда никто не заглянет. А в котором часу быть делу?

– Да этак после кофейю...

– Не поздно ли будет? Тогда уже много гуляющих.

– По мне, хоть в четыре, в пять.

– Вот это так; возьмем же среднее: в половине пятого. Еще один пункт: сколько взять с собою пива?

– Это для отпразднования примиренья?

– Нет, настоящее примиренье совершится уже дома, со всем комфортом. Но надо же подкрепляться и в антрактах?

– Справедливо. Возьмите по паре бутылок на брата, всего, значит, восемь.

– Десять, хотите вы сказать?

– Как десять?

– А посредника вы и забыли?

– Да к чему же нам посредник?

– Как к чему? Я, положим, буду уверять, что ваш дуэлянт ранен; вы будете настаивать, что не ранен; вот тут-то и нужен

посредник.

– Да ранен или нет – я всегда буду согласен, что ранен.

– Э, так вы вот как! Теперь я настоятельно требую, чтобы был посредник.

– А где вы возьмете его?

– И точно, где его взять?..

Брони погрузился в размышления над этим первостатейным вопросом.

– Блестящая мысль, – сказал Змеин. – Отчего бы не пригласить нашего же брата-студента?

– Кого это?

– Да старшую Липецкую.

Насмешливая улыбка появилась на губах корпор-ната.

– Я и забыл, что у вас есть студентки. Да сильна ли она по части пива?

– А разве это так необходимо? К тому же она лечится сыворотками, а таким больным воспрещаются всякие спиртуозные напитки.

– Ради этого, пожалуй, можно сделать исключение. Не возьмете ли вы на себя труда переговорить с нею? Остальные хлопоты я в таком случае возьму на себя.

– Вене. Но теперь и я со своей стороны намерен возбудить вопрос: не взять ли с собою доктора?

– Бог с вами! К чему без надобности замешивать посторонних? В случае чего я сам сумею перевязать: не впервой.

– А экипаж?

– Ну, тот, пожалуй, еще можно взять. Кстати, туда уложить пиво.

– А я запасусь квадратною саженью английского пластыря и наличным количеством носовых платков. Но где вы возьмете эспадроны?

– Где-нибудь да выкопаю. Пойду сейчас отыскивать, – прибавил он, вставая и бросая на стол должны за пиво деньги. – До свиданья.

– Смотрите, чтоб были потупее.

– Напротив, чем будут они острее, тем легче потечет кровь.

– И то правда. Кланяйтесь же и благодарите.

Змеин пошел отыскивать экс-студентку. Нечего, конечно, прибавлять, что та приняла его предложение – быть посредницей – как нечто подходящее, вполне естественное.

XVII. И грянул бой!

На следующее утро, ясное, солнечное, еще до половины пятого, все прикосновенные к предстоящему поединку собрались уже в столовой пансиона. На вопрос прислуживавшей им служанки: куда господа поднялись так рано? был согласный ответ:

– Ins Grime.

Перед окнами дожидались четырехместные дрожки. Брони вынес и уложил в них с осторожностью какую-то длинную вещь, завернутую в плед; затем не менее заботливо поместил на дне экипажа объемистую корзину, из которой лукаво выглядывала группа бутылочных горлышек.

Укрепившись на скорую руку кофе, поднялись в путь. В экипаж сел один Брони, для охранения уложенных в нем сокровищ. Остальные следовали пешком. Куницын не выспался и потому был мрачен и молчалив; впрочем, не с кем было и говорить ему. Лиза и натуралисты болтали как ни в чем не бывало, так что никто из встречавшихся им экскурсантов не мог в них заподозрить траурную процессию к лобному месту.

За малым Ругеном, на краю опушки, дрожки остановились. Выскочив из них, Брони велел кучеру обождать, передал Змеину плед с завернутыми в него таинственными вещами, сам завладел заветною корзиною и, став во главе

процессии, углубился в чащу. Вскоре открылась перед ними небольшая лужайка, замкнутая кругом высокими деревьями. Солнце обливало свежую мураву своим полным светом и играло там и сям в невысохших брызгах утренней росы. Из чащи веяло прохладой и сыростью.

Секунданты развернули пледы, и обнаружилось четыре блестящих лезвия.

– Сюртуки долой! – скомандовал Брони.

– В их-то присутствии? – указал Куницын на Лизу.

– Пожалуйста, не стесняйтесь, – заметила та, – я не так мелочна, чтобы показывать наивный вид, будто не знаю, что мужчины являются на свет не в платьях, и боюсь, что, скинув их, они сдерут с себя живьем кожу.

– А в таком случае я с моим удовольствием, – сказал правовед, следуя примеру противника, который же сбросил с себя верхнее платье. – Я забыл, что вы материалистка.

Секунданты вымеривали между тем длину оружия.

– Приблизительно одного калибра, – сказал корпорант. –

Выбирайте, господа.

Противники взяли по эспадрону, секунданты также.

– Брр, какой мороз; заметил Ластов, становясь в позицию. – Хорошо еще, что я в одних рукавах, а то можно было бы подумать, что трушу.

Презрительная улыбка пробежала по лицу Куницына; но, воздерживаясь от всякого замечания, он поправил только в глазу стеклышко.

– Что же, господа, – спросила Лиза, – так в шляпах вы и деретесь?

– Оно практичнее, – отвечал поэт, – солнце не мешает, да и тумачи по голове не будут так ощутительны. Одно условие, милый мой, – обратился он к противнику. – Тебе, конечно, также не особенно желательно быть обезображенным; так я предлагаю, не бить в лицо. Хочешь?

Правовед опять усмехнулся:

– Жаль вам своей смазливой рожицы? Пожалуй, так и быть, не трону.

– Я вовсе не нуждаюсь в твоём великодушии, – отвечал Ластов. – Кому из нас двоих, тебе или мне, дороже его смазливая рожа, – подлежит ещё сомнению. Разница между нами только та, что я откровеннее тебя и высказал обоюдную задушевную мысль. Впрочем, если хочешь, я отсеку тебе нос; что я дерусь недурно, подтвердит тебе Змеин.

– Да ведь я же говорю вам, что не имею ничего против вашего предложения. Вы хотите только выиграть время.

– Нимало. Я к твоим услугам.

Оружия врагов скрестились. Секунданты стали каждый за своим дуэлянтом, готовые предупредить вооруженною рукою всякий «незаконный» удар противной стороны. Посредница в ожидании предстоящего зрелища, расположилась на ближнем древесном пне.

– Los⁸⁵! – скомандовал корпорант. Куницын быстро от-

⁸⁵ давайте (нем.)

делил эспадрон от неприятельского лезвия и ударил приму. Ластов спокойно и ловко отвел удар. Правовед замахнулся квартой – и та была отбита. Посыпался еще ряд метких ударов, отпарированных с тем же искусством. Куницын заносится опять квартой; Ластов парирует намеренно слабо, вражеское лезвие соскальзывает к нему на грудь – и на белоснежной рубашке его, ровно по середине груди, выступает явственная красная полоска. Раненый отскакивает два шага назад и опускает оружие:

– Es sitzt⁸⁶!

– Это вы, как секундант победителя, должны были кричать: «Es sitzt»! – наставительно замечает Змеину корпорант.

– На следующий раз не премину. Но теперь не до того: где у нас пластырь?

Правовед, подобно другим, хлопотал около своего побежденного противника.

– Я надеюсь, что ты не опасно ранен? – спрашивал он заботливо, с великодушием победителя.

– По крайней мере, не смертельно, – отвечал с улыбкою побежденный, пожимая ему с теплотою руку. – Однако, черт побери, кусается! – прибавил он, расстегивая запонку рубашки и распахивая грудь.

Лиза даже ахнула: поперек груди зияла довольно широкая рана длиною вершка в два; кровь ручьем бежала из нее. Брони выхватил сверток пластыря и ножницы из рук Змеина и

⁸⁶ Остановитесь (нем.)

начал вымеривать рану.

– Отойдите, господа, дело мастера боится. Вот если б вы, сударыня, достали водицы, чтоб обмыть рану; там, в корзине, между пивными бутылками, припасена одна и с водой.

Девушка поспешила исполнить поручение. Змеин между тем отвел своего дуэлянта в сторону.

– Не покончить ли на этом? Забава, как оказывается, не совсем безопасная. Кровожадность ваша утолена, цель достигнута – was willst du, mein Liebchen, noch mehr⁸⁷?

Правовед прищурился.

– Вы это от себя или по поручению господина Ластова?

– Нет, от себя. К чему лишнюю кровь проливать? Еще пригодится. Ведь может же на беду случиться, то на следующий раз будете ранены вы?

Куницын призадумался.

– Так и быть!

Он направился к перевязочному пункту. Там молодой оператор, наклеивая пластырь на рану поэта, задавал последнему серьезную распекацию.

– Экая рана, подумаешь! Баснословно! Признайтесь-ка откровенно, что последняя ваша парода была скандальна, из рук вон плоха?

– Чистосердечно каюсь! – весело отвечал пациент. – Лизавета Николаевна, сделайте одолжение, налейте-ка мне vom

⁸⁷ что вы, мой милый, хотите еще более (нем.)

edlen Gerstensaft⁸⁸, потеря крови ослабила меня.

– Вы действительно бледнее обыкновенного, – сказала по-средница, наклоняясь к заветной корзине, чтобы исполнить желание раненого.

– Что вы? Не давайте! – остановил ее Брони. – Недостойн. Вы, государь мой, кажется, забываете, что обещались посвятить одну стычку и мне.

– Вот следующую дерусь за вас. Только сами посудите, как же драться хорошенько, когда вы отказываете даже в крепительном напитке Гамбринуса?

– Ну, Господь с вами. Сударыня, налейте ему Шопена. Так смотрите ж, не ударьте в грязь лицом.

– Если тебе уже очень не по душе, – небрежно обратился к поэту подошедший в это время Куницын, – то, пожалуй, перестанем; я не настаиваю непременно на продолжении *rencontre*'a⁸⁹.

Ластов взглянул на своего секунданта и покачал отрицательно головой.

– Нет, не могу. Долг платежом красен.

– Что я вам говорил? – отнесся к правоведу Змеин. – Еще рьянее вас. Но я все-таки не понимаю тебя, Ластов? Сам же говорил вчера...

– То вчера, теперь я связан кружкой баварского. Повремените, господа: расклеился, так не сейчас и склеить. Wird's

⁸⁸ благородный напиток (нем.)

⁸⁹ дуэли (фр.)

bald, Herr Leib und Magenflicker⁹⁰?

– Г's ist schon⁹¹, – отвечал хирург, окончательно нажимая платком края пластыря.

Лиза подала обоим по шопену пенистого пива.

– Александр Александрович, желаете?

– Позвольте.

Куницын отказался. Трое университетских чокнулись кружками и потом опорожнили их разом.

– А! Силы возвращаются, – сказал Ластов. – Aux armes, citoyens⁹²!

Враги и сподвижники их стали опять в позицию. Стиснув с решительностью зубы, Куницын, не дождавшись условного «Los!», выпал убийственной секундой. Ластов предвидел удар и, отпарировав его с силой, ответил в свою очередь легкой квартой. Правовед дрался недурно и отбил ее по всем правилам фехтовальной школы. Упало с той и с другой стороны еще несколько ударов. Но в то время как правовед приходил все в больший азарт, и каждый удар его имел явную целью чувствительно поразить противника, этот последний отбивался играючи, словно тросточкой от стаи мух, и если сам наносил иногда удар, то так легко, что Куницын, при всей своей горячности, мог отпарировать его. Около пяти минут уже длилась битва – ни с той, ни с другой стороны не было

⁹⁰ Это скоро, г-н пильпирующий тело и живот (*нем.*)

⁹¹ Скоро уже (*нем.*)

⁹² К оружию, граждане! (*фр.*)

ни царапины.

– Что же вы наконец? – шепнул за спиною Ластова нетерпеливый голос. – Вы забываете, что деретесь за меня.

– Смотрите же, – отвечал тот. – Это за моего секунданта!

И, привскочив на аршин от земли, он ударил сильнейшую приму через голову и затылок противника. Шляпа упала с головы правоведа, и гибкое неприятельское лезвие со свистом проехало по его спине.

– Ай! – невольно вскрикнул он, поднося к губам левую руку. Он держал ее, в продолжение всего боя, как следует, за спиною, и эскадрон Ластова, хлыстнув его по спине, избородил и ладонь этой руки его.

– Das sitzt! – поспешил возгласить Змеин, чтобы загладить прежнюю оплошность.

– Опять невпопад! – укорил дерптец. – Теперь ваш же дуэлянт ранен, а вы, вместо того, чтобы отстаивать его, говорить, что это пустяки, что нет никакой раны, первые же кричите: «Es sitzt!».

Закусив от боли и негодования губу, правоведа обвертывал платком пораженную руку.

– Да покажите же баснословный вы господин, – сказал Брони, – может быть, лучше, наложить кусочек пластыря.

Правоведа распутал повязку и показал ладонь. Поперек ее, от одного конца до другого, тянулся легкий шрам, из которого в нескольких местах выступали крупные капли крови.

– Вишь, тоже красная, – заметил иронически корпорант. –

Я всегда слышал, что у аристократов синяя. Господин Змеин, потрудитесь залепить эту безделицу. Вы секундант, а не заботитесь о благосостоянии своего дуэлянта.

– Не забочусь? – отвечал с важностью Змеин. – Вы думаете, это у него единственная рана? Herr von-Kunizin, Advocat aus St.-Petersburg, – извольте показать спину. – Он повернул правоведа вокруг оси. – Нет, что-то не видать; должно быть, один синяк, рубашка цела. А я так и думал, что распадётесь пополам – так звонко свистнуло.

– Пожалуйста, приберегите ваши остроты для других, – отвечал с раздражением Куницын.

– Ну, батенька, удружили! – говорил корпорант, ударяя по плечу поэта. – Никогда, ей-ей, ничего подобного не видывал. Это ведь вы за меня? Ха-ха! Молодчина! Теперь выпивайте хоть весь запас пива – не осерчаю. Знаете, мне хотелось бы выпить с вами брудершафт? Давайте, а?

– С удовольствием. Лизавета Николаевна, позвольтека нам еще по шопену.

Лиза подала им по бутылке.

– Можете и так. Не думала я, что низойду на степень маркитантки!

Продев руки, как должно, одну под другую, молодые люди выпили каждый свою бутылку и поцеловались потом три раза.

– Важно! – причмокнул Брони. – Теперь, значит, на *ты*? Как-то баснословно-отрадно, знаешь: есть около тебя брат-

ская душа.

– До свадьбы заживет, – говорил Змеин, окончив операцию бинтования руки правоведа. – Теперь, я надеюсь, вы удовлетворены? Можно, наконец, домой.

– Менее, чем когда-либо... – отвечал мрачно и отрывисто Куницын, которого, видимо, подмывала мысль о понесенном им унижительном поражении.

– Не перестать ли нам? – предложил и подошедший в это время Ластов. – Я, со своей стороны, не имею уже большой охоты драться.

– А! Струсили. Теперь поздно. Была честь предложена – отказались. Узнайте же, что значит шутить со мной! Назначено четыре *coups*, было всего два, следовательно, я имею полное право требовать от вас продолжения дуэли. Берите шпагу и не тратьте лишних слов.

– Как знаете, – отвечал Ластов, поднимая с земли эспадрон.

И бой возобновился. Но эта стычка прекратилась еще скорее предыдущих.

– Вам жаль своей физиономии, так вот же вам! – вскричал разгоряченный правоведа и, замахнувшись кватрой, тут же переменил направление оружия в секунду, чтобы, обманув таким образом противника, нанести ему полный удар в щеку. Поэт вспылил и отбил злонамеренный удар со всей энергией. Но парада его была так сильна, что эскадрон Куницына отлетел далеко в сторону, а лезвие вражеского оружия,

неудержимого в своем стремлении, вонзилось в его расprostертую руку, несколько выше кисти. Кровь бойким фонтаном забила из свежей раны.

– Das sitzt! – решил Брони и бросился за водой и пластырем.

Все столпились вокруг пораженного, и Лиза поспешила обернуть ему руку собственной косынкой.

– Кажется, артерию захватило, – заметила она с видом знатока.

– Извини, голубчик Куницын, пожалуйста, не сердись, – умолял перепуганный Ластов, – право, невзначай.

Раненый хотел что-то ответить, но вдруг закрыл глаза, опустил голову и пошатнулся: с ним сделалось дурно. Его схватили под руки. Возвратившийся с необходимыми врачебными средствами корпорант вылил ему на голову полбутылки воды, и когда больной очнулся, то принялся за необходимые омовения и заклеивания, перевязал ему руку несколькими платками и, накинув ему на плечи плед (по случаю забинтованных рук нельзя было надеть на него верхнее платье), решил:

– Домой.

Никто уже не возражал. Ластов хотел было повести своего врага-инвалида под руку, но тот высвободился и отвернулся.

– Оставьте... Мы с вами еще разделаемся...

– Оставь его на мое попечение, друг Leo Leonis, – сказал Брони, – лучше пособил бы господину Змеину подобрать

воинские принадлежности. Вот если г-жа студентка не откажется отвести его со мною к рожкам...

– Ах, нет, зачем же, я и сам... – проговорил правовед, оправляясь, но тут же опять пошатнулся, так что спутники должны были его поддержать. Он с горечью улыбнулся. – Нет, что-то не того... нейдет... Я чувствую, что дело плохо... У меня, Лизавета Николаевна, есть к вам последняя просьба: если б я не пережил своей раны, то скажите вашей сестрице, чтобы принесла цветов на мою могилу.

Лиза расхохоталась:

– Ну, вы еще не совсем безнадежны; потеря крови настроила вас элегично.

– Напрасно вы его утешаете, – вздохнул Брони, – дела уже не поправить: дома ждет нас баснословный завтрак в честь примирения, а господину Куницыну в настоящем его положении едва ли можно выпить основательно. Нет, сударь, я от души соболезную о вас.

Пока Ластов одевался, Змеин завернул в плед эскадроны и подобрал пустые бутылки и кружки, разбросанные по полю битвы; Ластов перекинул через плечо платя Куницына, и они отправились за другими.

– Ты напоминаешь мне лошадь в басне, – заметил Змеин. – Гордый, статный конь потешался над уродом ослом. Когда же с осла содрали шкуру, то надменного же коня накрыли ею.

Ластов, занятый серьезными мыслями, не отвечал.

– Что если я его ранил опасно? – проговорил он.

– Едва ли. Обморок сделался с ним по слабой натуре. Но я очень доволен, что он наказан: не рой другим ямы; зачем не удовольствовался первым дебютом.

XVIII. Судьба улыбается Моничке

Случай с Куницыным не произвел в пансионе *R.* никакого шума. Лица, участвовавшие в вышеописанной маленькой драме, понятным образом, об ней умолчали; по отрывочным же данным, никто не хотел, да и не думал доискиваться до истины.

Когда около восьмого часу пансионеры, сидевшие в столовой за утренним кофе, завидели в окошко медленно подъезжающие дрожки и с трудом вылезавшего оттуда, завернутого в плед правоведа, кто-то из них обратился к входящему в это время Змеину с вопросом:

– Что, скажите, с вашим соотечественником?

– Да так, ушибся маленько, – объяснил Змеин.

– Где ж это? Упал, что ли?

– Н-да. Собирались мы, видите, спозаранку на Руген, со всевозможным провиантом, чтобы позавтракать в зелени. Были с нами барышни, а барышни, сами знаете, какой народ: как забьют себе что в голову, никакой палкой не вышибешь. Захотелось же одной из них во что бы то ни стало понюхать цветочек, который рос как раз над обрывом: достань ей его да достань, чудно, должно быть, пахнет. Ну-с, соотечественник-то наш, воплощенная рыцарская натура, и пойдя доставать. Как нагнулся – земля под ним тара-рах! И совершил кувырколепие.

– Скажите! И больно расшибся?

– Да, кажется, есть-таки. Особенно пострадал руками, потому что брякнулся на четвереньки.

– А цветок-то что же? – вмешалась наивная немочка.

– На счет него можете быть спокойны: хотя и слетел также вниз, но остался цел и невредим и доставлен по принадлежности.

– Doch die Katze, die Katz ist gerettet!⁹³

весело подхватил входивший в это время Брони.

– Вот молодость! – заметил один из присутствующих, сухой старичок. – Вперед поостережется. И со мною, признаться, случился в юности подобный же пассаж...

И обществу волей-неволей пришлось выслушать «подобный же пассаж». Тем и кончились толки о Кунице.

Врач, призванный к больному, осмотрел его руку, успевшую уже порядком опухнуть, чуть заметно улыбнулся на объяснение: что «занозился, мол, об острый камень», и прописал ледяные примочки.

– На молчаливость мою вы можете положиться, – отозвался он, лукаво прищурясь на просьбу больного говорить о его случае как можно менее, – кому какое дело, к какому разряду минерального царства принадлежит злополучный камень, о который вы занозились: у всякого смертного свои камни преткновения.

И надо отдать честь прозорливому сыну Эскулапа: он свя-

⁹³ Но кошка, но кошка спаслась (нем.).

то сдержал свое обещание, хотя, быть может, тому содействовало и немаловажное повышение завизитной платы.

Если мы сказали, что никто из посторонних в пансионе *R.* лиц не известился об истинном ходе дела, то не выразили этим, что вообще никто, кроме действующих лиц, не узнал о поединке; было еще два не совсем посторонних лица: Моничка и Наденька, которые вскоре также сделались соучастницами в тайне. Чутье влюбленных, как известно, не менее тонко, как у легавых собак, и потому, как только передали Моничке эпизод о падении правоведа со скалы, она мигом смекнула, что тут что-то неладно, есть какая-то несообразность. Она обратилась сначала к Лизе не скрывать от нее ничего; когда же та повторила ей сказку Змеина, земля загорелась под ногами бедной влюбленной, и, с решимостью «*d'une fille complètement emancipee*⁹⁴», она кинулась в комнату возлюбленного. На стук ее в дверь послышалось обычное «*Herein!*», и, с самосознанием вскинув головку, она последовала призыву.

Больной полулежал на диване, подпертый с боков подушками. На полу перед ним сидела горничная и прикладывала лед к руке его, распростертой на стуле.

– *Pardon*, если я вхожу к вам так, *sans fafons*⁹⁵, – начала скороговоркой Моничка, – но я услышала о вашем несчастье...

⁹⁴ Девушка полностью эмансипированная (*фр.*)

⁹⁵ без стеснения (*фр.*)

– Не знаю, как и выразить вам мою признательность, – отвечал, приподнимаясь с подушек, правовед. – Вы – первая, навещающая меня в моем *isolement*⁹⁶. Я подал бы вам стул, но видите – не в состоянии: Прометей к скале прикованный. Anna, bringen Sie doch dem Flaulein einen Stuhl⁹⁷.

– Nein, nein, lassen Sie sich nicht storen⁹⁸, – предупредила барышня служанку, собиравшуюся уже исполнить приказание молодого человека. – Прислуга здешняя понимает по-французски, так поневоле приходится говорить по-русски, – продолжала она, присаживаясь у изголовья правоведа. – Вас ранили, m-r Куницын, ранили в дуэли; пожалуйста, не отпирайтесь, не повторяйте этой невероятной истории о падении d'un rocher.

– Гм, чем же она невероятна?

– Да всем. Во-первых, с какой стати вставать вам в пять часов, когда ни Наденька, ни я не были de cette partie de plaisir⁹⁹?

– Et puis¹⁰⁰?

– Puis – ведь с вами не было других дам, как Лиза?

– Нет.

– Так вообразимо ли, что Лиза, эта отъявленная флегмат-

⁹⁶ Уединении (*фр.*).

⁹⁷ Анна, вы даже можете принести девушке стул (*фр.*)

⁹⁸ Нет, нет, вы не можете мешать (*нем.*)

⁹⁹ Участниками этого веселья (*фр.*)

¹⁰⁰ А далее (*фр.*)

ка и прозаистка, прельстилась так на цветок, чтобы тревожить из-за него других? Нет, не скрытничайте, у вас был *rencontre*, и я знаю даже, с кем.

– С кем же?

– Да с этим противным Ластовым.

– Напрасно было бы, *m-lle*, скрывать от вас истину; вы так проникательны...

– Ага, сознались... Анна, вы, я вижу, устали, – обратилась она к горничной по-немецки. – Дайте-ка, я заменю вас, после можете воротиться.

Куницын с благодарностью преклонил голову.

– Вы слишком любезны, *m-lle*. С моей стороны, было бы верхом безумства отказаться от такой чести. *Anna, thun Sie, wie das Fraulein sagt*¹⁰¹.

Служанка посмотрела с недоумением поочередно на каждого из них, потом встала и, проговорив: «*Wie Sie befehlen*¹⁰²» – сделала кникс и вышла.

Моничка присела на ее место и взяла в руку кусок льду.

– *Ah, mais c'est bien froid*¹⁰³.

– Видите; откажитесь-ка лучше от роли сестры милосердия, которую взяли на себя в порыве великодушия, – возразил по-французски же правовед.

– Ах, нет, как же можно. Вам, я думаю, еще холоднее, на

¹⁰¹ Анна делайте, как говорит девушка (*нем.*)

¹⁰² Как скажете (*нем.*)

¹⁰³ Ах, но это очень холодно (*фр.*)

пылающую-то рану. Если б вы знали, как я зла теперь на этого гадкого университапта...

– Да вы не думаете ли, m-лле, что ранен один я? О, нет! Как я изрезал ему грудь!

– Да? Но это премило с вашей стороны! Ведь он, я думаю, страшный трус; верно, отказывался сначала драться?

– Да, то есть ни за что не соглашался на пистолеты: на шпагах, говорит, не так опасно. Хе, хе!

– Ах, какой стыд! И вы же поплатились? После этого я его не только ненавижу – я его презираю! Попадается мне сейчас на лестнице и свищет во всеуслышанье, как ни в чем не бывало – точно извозчик! Мужик этакий... Верно, пойдет еще хвастаться перед Наденькой, что победил вас; а она, дурочка, влюбленная в него, как курица, как раз и поверит! Она не в состоянии постичь все благородство вашего поступка... Ведь вы за тот поцелуй?..

– Да...

– Ну, вот, а она, я уверена, не решится даже заглянуть к вам, хоть бы из признательности: маленькие девочки считают это неприличным!

Больной посмотрел на свою самаритянку искренне благодарными глазами.

– А вы не сочли этого неприличным? Знаете ли, m-лле, что вы в некотором роде ангел? Позвольте поцеловать вам ручку; ей-Богу, от чистого сердца.

Моничка просияла.

– Следовало бы отказать, но как вы больны, а больным не велят отказывать в их желаниях...

И маленькая, изящная ручка была поднесена к губам правоведа; те крепко прильнули к ней.

– Ну, довольно, м-г Куницын, довольно... А сама не отнимала ее.

– Вот так, благодарю вас, – сказал он. – Мы говорили о вашей кухне. Поверите ли, когда я восхвалял ей Париж, она – что бы вы думали? – пожалала плечами.

– Ну да, ребенок, я ведь говорила – ребенок; где же ей! Ах, м-г Куницын, ведь дивно, должно быть, в Париже? Как я завидую вам и всем, побывавшим там.

– Да, недурная местность, весьма и весьма изрядная; имете полное право завидовать. Вся атмосфера Парижа пропитана каким-то живительным эликсиром; вдыхая ее, заметно перерождаешься, делаешься чем-то лучшим, высшим. Каждая малость, каждое, так сказать, дрянцо носит на себе отпечаток цивилизованности. Хоть бы гарсоны в отелях. Я останавливался последний раз в Луврской; так моего гарсона звали не Захаром или Никифором, а Альфонсом! Каково имечко?

– Ах, да, какое музыкальное. Так и напоминает: Alphonse Karr!

– Именно. В своем франтовском фраке, снежно-белом галстуке он не уступал в грации любому комиль-фо, а чисто французский выговор, а выраженья... Не «papillon», а

«рариуон»! Прелесть! Я даже боялся заговаривать с ним, должен был обдумывать каждое слово, чтобы не срезаться. Между тем я, как вы, вероятно, замечаете, изъясняюсь по-французски не очень-то дурно?

– Вы говорите бесподобно, упоительно, m-г Куницын.

– А то возьмите прачку, – продолжал он, – простую прачку. Ну, что такое в сравнении с нею наша доморощенная Матрена, Марья? Толстая, неповоротливая! Ее и назвать-то нельзя иначе, как Матреной. А тут – стучатся к вам в дверь (уже по одному стуку вы угадываете благовоспитанную ручку), вы приглашаете: «Entrez», и влетает к вам легкая, как зефир, грациозная вторая Тальони. Вы недоумеваете: кто это? В самом ли деле не более как прачка, или одна из гордых фей Сен-жерменского предместья?

– И верно, кокетничали с нею? – перебила Моничка. – Фи, с прачкой! Как она там ни будь грациозна – все прачка.

– А, нет. Вы узнайте сначала, что такое французенка-прачка, а потом и судите. Правда, красавиц в полном смысле слова между французенками и не ищи. Например, таких, как вы, положительно нет...

– Вы льстите!

– Нет, серьезно. Но лица у них всегда необыкновенно выразительны, и какой вкус в нарядах, что за манеры...

– Ну, хорошо, оставьте в покое своих прачек и расскажите что-нибудь про самую жизнь в Париже.

– Да, что до жизни, то можно без преувеличения сказать,

что одни французы раскусили эту замысловатую дилемму. Прохаживаетесь вы по итальянскому бульвару, а народ вам навстречу – не идет, нет – прыгает, порхает, поет, хохочет. «Мы живем для наслаждения, – читаете вы на этих беззаботных, довольных лицах, – бери пример с нас, о странник, и будешь счастлив!» И как умно они умели воспользоваться всеми усовершенствованиями по части жизненного комфорта, чтобы превратить свой Париж в восьмое чудо мира, в настоящий сказочный замок Шехеразады. Это я называю цивилизацией! Недаром величают они себя «la grande nation¹⁰⁴». Вокруг вас только роскошь и блеск, жизнь и наслаждение. Чего стоит один обед у «Trois Freres-ProveriQuaux»! Насладись и умри! – как сказал Прудон. Я всегда с особенным удовольствием вспоминаю один случай... Подают мне там бутылку вина. Не глядя на ярлык, наливаю стакан, пробую. «Lacrymae Christi», – говорю гарсону. «Точно так,» – подтверждает он, кланяясь с знаками уважения. Пью еще: «48-го года», – решаю опять.

Человек даже ахнул от удивления: вино было действительно 48-го года.

– Скажите! – изумилась Моничка.

– Можете представить, как я сам-то обрадовался. Но, само собою, узнавать вино можно только в неиспорченном виде... Когда-то наша бедная Россия достигнет хоть тени всего этого!

¹⁰⁴ великий народ (фр.)

– Ах, m-г Куницын, и не упоминайте об ней!

– А театры?..

– Вы, милый мой, рассказываете так увлекательно, что взяла бы да полетела туда. Что ж это наши сидят в этой скучной Швейцарии!

– И все это у них в колоссальных размерах, – продолжал повествователь, довольный уже тем, что нашел внимательную слушательницу, – всякая безделушка бьет в глаза. Идете вы, примерно, по Пале-Роялю – в окна магазинов только бархат да золото, золото да бархат. Что есть у них лучшего, все на показ. Если бы можно было, то хорошенькие продавщицы и свои очаровательные личики выкладывали бы на окна. Итак, говорю я, все в колоссальных размерах. Лежит, например, груда не груда – целая гора брелоков для часов, микроскопических каких-нибудь биноклей, а посмотрите в такой бинокль, увидите прелюбопытную фотографию. Вот и у моих часов, как видите, привешена такая штучка.

– Можно взглянуть?

– Да вы, пожалуй, рассердитесь.

– Так что-нибудь нехорошее?

– Напротив, очень хорошее; а впрочем – как знаете.

Моничка отцепила часы от жилетки молодого денди и поднесла привешенную к цепочке крошечную зрительную трубку к глазу.

– Ах, какой вы! – пролепетала она, вспыхнув и быстро опуская часы с замечательным брелоком.

– Ха, ха, ха! – смеялся правовед. – Что же в этом дурного? Ведь и себя же вы видите иногда в подобном туалете. Никто не родится на свет в платьях.

Опустив личико, бы не рассмеяться, Моничка вложила часы обратно в жилетку их владельца и, закусив губу, принялась вновь с усердием прикладывать лед к руке его.

– Есть, правда, одна слабость у французов, – заговорил опять Куницын. – Они не очень опрятны там, где этой опрятности нельзя сразу заметить. Встречается вам, например, барыня, разодетая в пух и в прах. Вы опять недоумеваете: прачка это или герцогиня? Но тут порывом ветра поднимается рукав ее – нет, видно, не прачка, а герцогиня: вашему взору открывается рукавчик, давно жаждущий капитальной стирки. Но эту слабость, по-моему, можно вменить им только в достоинство, потому что, пренебрегая невидимыми частями своего туалета, они имеют возможность тем тщательнее заниматься своей внешностью для достижения в ней того совершенства, которым мы, русские, можем только любоваться, но до которого нам далеко, как до неба.

Так ораторствовал правовед, а Моничка благоговейно внимала ему, прикладывая ему с самоотвержением истинной сестры милосердия лед к больной руке, хотя пальчики ее, сперва покраснев, потом посинев, почти и окостенели уже от холода.

XIX. Три примирения

Утро. Поэт сидит в своей комнате за столом, перед открытым окошком. Склонившись головою на левую руку, он мечтательно заглядывается на снежную, облитую солнечными лучами Юнгфрау. В правой руке у него перо, под рукою – бумага, испещренная иероглифами, зачеркнутыми, перечеркнутыми и иногда опять возобновленными рядом точек снизу. Тут выведена особенно старательно, с замысловатыми завитушками, одна какая-нибудь буква, там набросан очерк человеческой или лошадиной головы. Поэт беседует с Музой.

– Herr Lastow... – раздался за его спиною робкий голос.

Поэт не слышит: он напел требуемую рифму, склоняется над бумагой и, как бы опасаясь, чтобы стих не выскользнул у него угрем из рук, торопливо набрасывает четыре строчки. Затем, с самодовольным спокойствием, перечитывает вполголоса написанное.

– Herr Lastow! – повторил громче голос. Ластов оглянулся. В дверях стояла Мари, бледная, убитая. Он подошел к ней и поднял ее подбородок.

– Что с тобою, милая?

Она раскрыла дрожащие губы, хотела что-то ответить и, не произнеся ни слова, отвернулась. Поэт находился в самом приятном расположении духа: удачно найденный стих раз-

веселил его; ему стало жаль девушку.

– Обидел тебя кто? Скажи – я накажу его. Мари взглянула на него: в темно-бархатных глазах ее плавали слезы. Она силилась улыбнуться.

– Накажите же себя самого!

– А! Так это я виноватый?

– А то кто же? Удивляет меня только, как вы и теперь не вздыхаете у ног своей обожаемой.

– Ты, стало быть, знаешь?..

– Что вы целовались с ней? Как не знать! Сама же мне рассказала...

– Сама?

– Не знала, кому поведать свое горе, и меня выбрала...

Нашла кого!

Мари заплакала и закрылась руками.

– Перестань, душа моя. Я ее люблю, точно; но и тебя я не менее люблю. Сердце мое так обширно, что вмещает в себе вас обеих.

Du liebes, kleines Madchen,
Komm an mein grosses Herz...¹⁰⁵

И он хотел обнять ее. Швейцарка высвободилась.

– Оставьте... Вам бы все надсмехаться...

– Ничуть, дорогая моя, я серьезнее, чем когда-либо. Дело

¹⁰⁵ Ты любишь, маленькая девочка, Приди в мое большое сердце. (нем.)

очень простое: я жаждал любви; боги послали мне разом и тебя, и ее: виноват ли я в такой благодати? И к тебе, и к ней мое сердце возгорелось чистою страстью, и в обществе которой из вас я нахожусь, та в тот миг мне и дороже. Теперь я, например, весь твой...

И он снова обнял ее. Она уже не противилась.

– Да разве можно любить двух разом? – прошептала она только.

– Как видишь. Собственно говоря, люблю я всегда только одну: теперь, когда я с тобою, я и думаю только о тебе.

Du-Du liegst mir am Herzen,
Du-Du liegst mir im Sinn,
Du-Du machst mir viel Schmerzen,
Weisst nicht, wie gut ich Dir bin.¹⁰⁶

Ну, засмейся!

Мари сквозь слезы улыбнулась.

– Ну, еще на грош!

Мари засмеялась.

– Вот так. Теперь, для полного мира, поцелуемся.

Она дала поцеловать себя. Называя ее всевозможными нежными именами, молодой человек усадил ее на диван; потом стал перед нею на колени. Луч радости осветил бледные черты девушки.

¹⁰⁶ Ты-ты в моем сердце едина, Ты-ты лишь на одна на уме, Ты-ты моих мук лишь причина, Не знаешь, как любя ты мне(нем.).

– Так вы меня еще немножко любите? Вы теперь не думаете об ней? Вы... ты теперь мой, весь мой?

– Твой, милая...

– Ты мой, мой?..

Обеими руками обхватила она его голову и сжала ее так крепко, что Ластов даже вскрикнул.

– А! То-то же! Видишь, как я люблю тебя. Знаешь, с какого времени ты полюбился мне?

– С какого?

– С первого же дня. Помнишь, ты расписался в книге: «Naturfuscher», и когда я спросила: что ж это такое? – ты объяснил мне, что срываешь все хорошенькие цветочки... «Уж не сорвет ли и меня?» – мелькнуло у меня в уме.

– Ишь, какая! – засмеялся молодой человек. – Так ты знаешь, что ты хорошенькая?

– Да ведь сам же ты, милый мой, уверял меня в том? – был наивный ответ. – И мог ли ты, такой умный, такой красавец, полюбить некрасивую?

– Аргумент неопровержимый!

– Вот ты и говоришь мне: «Берегитесь, моя милая, чтоб и вас не постигла та же участь». Я, разумеется, покраснела, а ты нагнулся над чемоданом и говоришь: «Не краснейте: я не буду больше смотреть». Такой шутник! Тут у меня и дрогнуло сердечко, точно что кольнуло, так и хотелось броситься к тебе. «Какой он интересный! – подумала я и взглянула на тебя. – Да и что за милашка!» Душка ты мой, душеньок!

Она наклонилась к нему и, как дитя, обвила его шею руками.

– А помнишь, как ты спрашивал меня, нравится ли мне Вертер? Я очень рассердилась, когда ты назвал его плаксой. Ведь в тебе я видела своего Вертера, ты был такой бледный, красивый, да такой милый... Как же мне было не сердиться, когда ты бранил самого себя?

– Бедная моя! – вздохнул поэт.

– Я бедная? Нет, сударь мой, я богатейшая, ух, какая богатая: ты ведь мой!

Она прижала его к себе со всем жаром молодой, несдержанной страсти.

– Ах, я и забыла, зачем пришла к тебе! – спохватилась она вдруг и залилась светлым смехом. – Этот *Advocat aus St. Petersburg* хочет видеть тебя.

– Куницын?

– Да, зайти просил. Совсем из головы вон. А все ты, мой голубчик! Ну, прощай, до свиданья.

Она порхнула к двери.

– Разве так прощаются? – спросил с шутливым укором Ластов.

Девушка вернулась к нему:

– Ненасытный! – и, звонко поцеловав его, скрылась из комнаты.

Как бы удивилась она, если б увидела облако, осенившее тотчас по ее уходе чело возлюбленного; но удивление это пе-

решло бы в ужас, если б она заглянула в его душу: там прочла бы она неумолимое решение: «Полно шалить-то! Покончить поскорее: помириться с Куницыным, с Наденькой – и куда глаза глядят».

Правовед принял своего недавнего врага вполне дружелюбно.

– Спасибо, что зашел, – начал он, – я подал бы тебе руку, да видишь – не можем.

Обе руки у него были еще забинтованы.

– Ничего, мы и так, – отвечал Ластов, пожимая с осторожностью кончики пальцев правой руки больного, выглядывавшие из-под перевязи.

– Я, Ластов, рассудил, что нам, собственно, не из-за чего враждовать, и потому полагал бы дуэль нашу считать оконченной, хотя и остается еще один соур. Как ты думаешь?

– Совершенно с тобою согласен. Но что возвысило так барометр? Не являлась ли к тебе Наденька с уверениями в вечной любви?

Куницын беспокойно повернулся на диване.

– Нет, Наденьки-то не было... Хотя, правду сказать, ей бы и ничего не значило заглянуть разок: рискуют из-за нее жизнью, некоторым образом кровь проливают, как выразился капитан Копейкин, а она себе и в ус не дует.

– Не дует, потому что...

– Не имеет усов? – сострил правовед.

– Нет, может быть, она ничего и не знает...

– О дуэли-то? Сказал, брат! Чтобы из-за девушки дрались, и она об этом не знала? Моничка же догадалась; а если Наденька не так сметлива, то кухня не утерпит передать ей... Да что мне, впрочем, в Наденьке? Она, как я тебе когда-то говорил, незрелый крыжовник; теперь же я убедился, что она крыжовник до того незрелый, что очень легко схватить холеру. Нет, покорно благодарим-с!

– Слава Богу, – вздохнул Ластов, – разошлись наконец во вкусах. Кто же произвел эту благоприятную перемену? Не Саломонида ли?

– Да если б и Саломонида? Тебя, кажется, очень забавляет это имя? Оно, в самом деле, некрасиво. Но Моничка, по моей просьбе, решила изменить его и называться вперед Семирамидой.

– Гм...

– Что гм? Да, милый мой, промахнулись мы с тобою, не понимаю, где у нас были глаза! Ведь это такой клад...

– Кто? Моничка, то есть Мирочка?

– Да, Мирочка, да. Если б ты видел, как она печется обо мне: прочитывает мне вслух, прикладывает лед к моей ране, даже отморозила себе один палец... Друг мой, что у нее за руки! Белые, пухлые с ямочками... *sapristi*¹⁰⁷. Только бы гладить да целовать...

– А ты пробовал их гладить и целовать?

– Н-нет, то есть видишь ли, я обещался не болтать, ну, да

¹⁰⁷ ей-Богу (*фр.*)

тебе можно... а, братец ты мой, дал же ты маху! Не умел воспользоваться таким сокровищем! Она предоставлялась тебе в силу гисбахского договора – ты не хотел, не сумел схватить счастье за шиворот, теперь плачь не плачь – не воротишь.

– Покуда я не имею, по крайней мере, ни малейшего поползновения плакать. Ведь Наденьку ты оставляешь мне?

– Всю как есть, mit Haut unci Haar¹⁰⁸. Как представлю я ее себе, какую она будет через лет десяток – так дрожь и пробежит! Непременно пойдет в матушку, расплывется во все концы, как холмогорская корова! Брр! Ненавижу толстых! Но – de gustibus non est disputandum.

– Именно. Поэтому, я думаю, лучше не хулить чужого предмета. Я не трону Мирочки, ты оставь в покое Наденьку. De gustibus non est disputandum¹⁰⁹.

В это время Ластов увидел в окошко Наденьку, проходившую только что через садик. Не распростившись с правоведем, он кинулся из комнаты, чтобы не пропустить этого случая переговорить с гимназисткой.

Девушка сидела в печальном раздумье в одной из беседок сада. Завидев приближающегося Ластова, она вспыхнула и хотела выйти. Он вынул из кармана многореченный платок ее:

– Считаю долгом возвратить...

Вырвав его у него из рук, гимназистка хотела удалиться.

¹⁰⁸ С кожей и волосами (нем.)

¹⁰⁹ О вкусах не спорят (лат.)

Молодой человек загородил ей дорогу.

– Не уходите, – сказал он тихо и решительно. – Нам надо объясниться.

Наденька колебалась: оставаться или нет?

– Умоляю вас, Надежда Николаевна, на пару слов, не более.

Она повернула назад и села на скамейку.

– Ну-с?

– Скажите, вы ненавидите меня? Гимназистка перебирала складки платья.

– Не ненавижу, но...

– Но презираете, но знать не хотите?

– Да как же знаться с вами, когда вы позволяете себе подобные вещи? Разве я дала вам к тому повод?

За что вы потеряли ко мне всякое уважение? Я держалась в отношении к вам всегда просто, но и как нельзя более прилично... А вы обошлись со мной, как с какой-нибудь...

Голос ее оборвался, и она отвернулась в сторону, чтобы скрыть две слезинки, выступившие на длинных ресницах ее.

– Простите, Надежда Николаевна, вы действительно ничем не виноваты, во всем виноват я, но ведь и величайшему грешнику отпускаются его прегрешенья, если раскаянье его чистосердечно. А разве моя вина уже так велика? Ну, что такое поцелуй?

– Прикосновение губ, говорит Лиза... – прошептала Наденька, против воли улыбнувшись при этом. – Но если я не

хотела, то вы и не смели...

– Совершенно справедливо. Но примите в соображение следующие обстоятельства: несколько минут до рокового прикосновения губ вы посвятили меня в свои паладины. Как же не простить паладину небольшого, первого поцелуя, который только закрепил наши отношения, как дамы и ее верного паладина?

– Небольшого! Он был преобладающий!

– Мог бы быть и больше, – засмеялся Ластов. – Да ведь я и поплатился за свою дерзость: потерял несколько унций крови.

– И, кстати, пустили несколько фунтов ее другому, совершенно постороннему лицу? Хорошо раскаяние!

– Что ж, сам навязался. Ах, Надежда Николаевна! Сами знаете: надежда – кроткая посланница небес. Перестаньте же хмуриться, посланнице небес это вовсе не к лицу. На душе у вас, я знаю, гораздо светлее. Не сердитесь!

– Я и не сержусь...

– Серьезно?

– Нет. Только мы вперед не будем с вами знакомы.

– И говорите, что не сердитесь? Если б вы точно простили, то были бы со мною по-прежнему. Вы молчите? Хотите, я стану на колени?

– Какие глупости!

– Нет, без шуток. Вот я и на коленях. Довольны вы, о, дама моего сердца?

– Ах, что вы, что вы, встаньте... Ну, кто увидит...

– Auch das noch¹¹⁰! – раздался перед беседкой раздражающий голос и послышались быстро удаляющиеся по песку шаги. Молодые люди, как ужаленные, вскочили – один с земли, другая со скамейки – и выглянули в сад: по дорожке, за углом дома, скрывалась Мари.

Ластов, растерянный, бледный, поник головой.

– Auch das noch! – повторил он про себя слова швейцарки. – Глупость за глупостью!

– Она не расскажет, она моя поверенная... – поспешила успокоить его Наденька.

– Мало ли что...

С полминуты длилось молчание. Гимназистке стало неловко.

– Вам более нечего сказать мне? – прошептала она, не глядя на собеседника.

– Нечего. Пожалуй, могу еще прибавить, что сегодня же с первым послеобеденным парходом исчезаю отсюда.

– Как? Совсем?

– Совсем.

– Но с какой стати? Ведь кажется...

– Пора, Надежда Николаевна, не вечно же блаженствовать, надо и честь знать.

– Ну, и с Богом...

Не поднимая глаз, Наденька быстро вышла из беседки и,

¹¹⁰ Это предел (нем.)

не оглядываясь, скрылась в дверях дома.

Ластов гордо приподнял голову и решимость блеснула в глазах его.

«Пора, пора, рога трубят... Милые вы мои, добренькие, хорошенькие! Обе-то вы мне дороги, обеих жаль покинуть, но потому-то и следует покинуть... Прочь, прочь! Чем скорее, тем лучше!»

XX. Гриндельвальдский глетчер

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Решиться-то поэт наш твердо решился ехать сегодня же, и товарищ его, которому он привел свои доводы, нашел их вполне основательными и сам также положил отправиться с ним, но судьбе, или, вернее, прачке, неблагоугодно было очистить их путь от некоторых терний: значительная часть белья их была в стирке и, несмотря ни на какие увещевания, не могла быть готова ранее следующего полудня. Надо было покориться.

Но им было суждено остаться еще один лишний день.

– Как? – спросила Лиза за вечерним чаем. – Вы хотите уже улизнуть, не предупредив нас о том заранее? Я не дочла ее вашего Фохта, Александр Александрович, а недочитанным не отдам. Вы должны остаться.

– Так оставьте его себе, я сам прочел его и не нуждаюсь в нем более.

– Нет, я не принимаю подарков.

– Да бывали ли вы, господа, в Гриндельвальде? – вмешалась Наденька.

– Нет, не привелось.

– И хотите уже ехать? Не стыдно ли вам! Гриндельвальд – самая романтическая местность в целом Oberland.

– Что правда, то правда, – подхватила Лиза. – На завтра,

по крайней мере, вы должны остаться. Сообща и съездим туда.

Друзья переглянулись.

– Не хотелось бы... – проговорил Ластов.

– Да не бросится же твоя Мари сейчас же в воду? – заметил ему шепотом приятель. – Останемся-ка еще денек.

– Кто ее знает, может, и бросится...

– Что вы перешептываетесь? – заметила Лиза. – Знаете, что это неприлично. Проще всего: соберемте голоса.

Понятным образом, большинство голосов было в пользу гридельвальдской поездки.

На другое утро, часу в шестом, по направлению к Юнгфрау катились с умеренной скоростью влекомые двумя хорошо откормленными конями, четырехместные дрожки. Назади сидели две сестры Липецкие, против них два друга-натуралиста.

Поездка в Гриндельвальд, если не принимать в расчет общества, в котором ее совершаешь, сама по себе малопривлекательна. Гладкое шоссе вдоль берега пенистой Цвейлютчинен, одни и те же лесистые стены гор по правую и левую руку – все это довольно монотонно. Немного разнообразят путь и лохматые ребятишки, подбегающие то здесь, то там к вашему экипажу и предлагающие вам – или корзиночку с земляникой, или игрушечный домик, или просто букет полевых цветов, разумеется, за бесстыдные цены, что не мешает им, однако, удовольствоваться и каким-нибудь су, если вы не за-

хотите дать более. Возница ваш также нимало не заботится об увеличении приятности поездки ускоренною ездою: при малейшей, едва заметной отлогости тормозит он колеса и, исполненный весьма похвального чувства сострадания к животным, но забывая о необходимости такого же сострадания к высшему классу животных – к людям, заставляет вас перед всяким пригорком вылезать из экипажа и тащиться до вершины пешком под жгучими лучами солнца; а не предупредите его вовремя – то укатит без вас и далее, руководствуясь, вероятно, соображением: «Приехали в Швейцарию, чтоб ползать по горам, так пускай себе и лазают».

Но однообразие поездки в Гриндельвальд с лихвою окупается самим Гриндельвальдом. С балкона гридельвальдской гостиницы «*Adler*», куда молодежь наша тотчас по приезде велела принести себе кофе, открывается один из живописнейших швейцарских видов. Под ногами расстилается волнообразная, цветущая долина, заваленная зеленью и цветами, из-за которых там и сям выглядывает приветливая хижина. Кругом воздымается неприступный строй в небеса уходящих бернских Альп, осыпанных сверху до низу, как рафинадом, чистейшим снегом. В горных ущельях синеют громадные ледники; над одним из них сверкает и искрится белая, ледяная равнина – *mer de glace*. Солнце, со своей лазурной высоты, обливало всю картину полным светом.

– Чудно! – заметила Наденька. – Если б можно было туда, на глетчер...

– А разве нельзя? – сказал Ластов и обратился к стоявшему в дверях слуге. – Ведь на глетчер ходят?

– На *mer de glace*? Как же-с! Только мало – человек шестьдесят-семьдесят в год, не больше.

– Значит, опасно?

– Как бы вам сказать? Если не оступиться, так ничего. Разумеется, если оступишься, то неминуемая смерть. Тут есть компания англичан, что сейчас туда собираются.

– Что ж, – сказала Лиза, – если ты, Наденька, и вы, Лев Ильич, желаете идти с ними, то, пожалуйста, не стесняйтесь, мы с Александром Александровичем соединим *utile dulce*¹¹¹: сыграем в шахматы.

Ей, по-видимому, хотелось остаться с Змеиным вдвоем. Наденька посмотрела на сестру: не шутка ли это с ее стороны; но, уверившись в противном, радостно вскочила со стула.

– Переговорить с англичанами, ведь они буки, и – *vorwärts*.

Англичане, действительно, оказались буками: они стали совещаться, принять русских в свое общество или нет? Благоприятному исходу совещания способствовал, однако, один юный альбионец с льяными волосами, бесцветно-водянистыми глазами и рыжими, жидкими баками, которому заметно приглянулась хорошенькая россиянка.

– Если позволите, – заметил он, приторно-сладко ослаб-

¹¹¹ полезным и приятным (*лат.*)

ляясь, – я буду вашим защитником от горных чудовищ?

– То есть от ваших спутников? – засмеялась Наденька. – Нет, благодарю вас, я уже запаслась паладином.

Отзавтракав, общество двинулось в путь. Не до глетчера приходилось им не раз останавливаться. Сперва подбежал к ним мальчик с пастушьим рогом и, извлеки из инструмента несколько нескладных звуков, потребовал должного вознаграждения. Узнав, что рог этот – пресловутый альпийский, англичане с готовностью вознаградили артиста. Затем попалась путникам старушка с арфой; и ее нельзя было пропустить без подаяния. Далее дожидали их двое ребятишек с сурком в корзине, которого они тщетно понукали перескочить через палку. Англичане возроптали.

– Что ж это у вас, однако, за нищенство? – отнесся один из них к проводнику.

Тот только усмехнулся.

– А кто виноват? Вы же, путешественники, их балуете. Они ведь только знай выглядывают из хижин – не пройдет ли кто, да сейчас и выбегают на дорожку добывать денежку, кто чем горазд. Ты, Петерль, опять цыганствуешь? – обратился он к одному из мальчуганов и дал ему щелчок в лоб. – Ведь отец не приказывал? Сказал: выпорот.

Мальчуган, не обращая внимания на нравоучение фюрера, скорчив жалобную мину, протягивал руку к путникам:

– Добрые господа, подайте сиротинке! Англичане не устояли и заплатили должную пошлину.

Перешагнули ручей, образующийся от слияния множества ручейков, вытекающих из глетчера.

– Лютчина, черная, – объяснил фюрер.

– «Лучина лучинушка!» – затанул Ластов.

Англичане недоброжелательно на него оглянулись.

Когда общество перебралось через каменистую морену, нагроможденную у подошвы ледника, их обдало ледяным дыханием зимы. Из цветущего мира долины вступили они внезапно в царство смерти. Внутри ледника выкопан туннелеобразный грот. Около входа красуется пушка, которая, за полфранка в пользу ее хозяина, безногого инвалида, пробуждает в горах многократное эхо. По деревянным, качающимся мосткам, вошли в туннель. Сначала ледяные стены грота были прозрачны и чисто-голубого цвета; далее, они стали синеть, вот позеленели, все темнее и темнее, пока совершенно не почернели; крутой поворот налево – и открывается мрачный рукав грота, освещаемый только двумя рядами тускло мерцающих свечей. От тепла, распространяемого свечами и человеческим дыханием, своды исподволь тают, и холодные капли брызжут на головы посетителей. Где-то, в глубине ледника, слышится затаенная жизнь – глухо журчащая вода. Откуда-то проносится сухой треск лопающегося льда – вода бежит порывистее и звонче. Вдруг – оглушительный грохот, отовсюду ответствуют гулливый раскаты, сейчас вот, кажется, обрушатся своды...

– Упала лавина, – объясняет проводник.

Но визитаторам делается страшно: а ну, если и вправду похоронит под собою? Все спешат выйти. Навстречу льются розовые потоки света. А! Как славно, как широко дышится на вольном воздухе! Как приветливо улыбается природа, как горячо и отрадно греет солнышко!

Последним вышел молодой англичанин; он вымерил шагами длину грота, справился в Муррее (которого, конечно, всякий сын Альбиона считает долгом иметь всегда при себе) и остался, видимо, недоволен результатом справки.

– Что за нерадение? – заметил он с упреком проводнику. – Тут их показано восемьдесят, а у вас их целых сто сорок четыре.

Проводник опять усмехнулся.

– Муррей – человек весьма почтенный, но все-таки не пророк, чтобы знать наперед, какой глубины грот выроется нами в следующем году.

– Так зачем же вы вырываете новые гроты?

– Да ведь глетчер, сударь, не то, что земля: трескается и подтачивается водою.

– Понятно. И скользит ведь постоянно вниз? На сколько это? Кажется, на три фута в сутки...

– Уж это нам неизвестно.

Но довольный тем, что выказал свои знания по физической географии, англичанин наградил фюрера франком.

Пушка, по обыкновению, в совершенстве исполнила, свое шумное дело. Затем началось самое восхождение на глетчер.

В числе прочих поднималась одна англичанка; она носила огромные, синие очки, для защиты от сверкающего снега; теперь она подобрала платье в виде шаровар и подпоясалась платком. Наденька, не раздумывая долго, последовала ее примеру, причем обнаружила ножку и голень самых изящных форм. Молодой англичанин так и впился в них своими бычачьими глазами и сделался с этой минуты, если возможно, еще любезнее.

Узкая тропинка, по которой подвигался небольшой караван, обогнув подошву ледника, проскользнула в сень соснового леса и взяла круто в гору, по правому склону Меттенберга. Слева возвышалась неприступная гранитная стена, справа зияла глубокая пропасть, на дне которой громоздились одна над другою исполинские ледяные глыбы.

– Тише, господа, тише, – предостерегал фюрер, – и вниз не заглядывайтесь.

– Отчего не заглядываться?

– Голова закружится, и тогда аминь. Еще летось покончила тут одна француженка.

– Как так? Расскажите.

– Поднималась верхом. До этого места доехала счастливо, но тут – Бог ее знает! – голова ли у нее закружилась или так, со страху – только возьми и дерни за повод; лошадь-то слудру и тяп в пропасть. Вскрикнула дама, взревело животное, взвилась пыль столбом – и поминай, как звали! А добрый конь был, франков в восемьсот. Индо за живое схватило.

Наденька слушала с притаенным дыханием.

– И хороша была она? – спросил Ластов.

– Я вам говорю: в восемьсот франков...

– Да не лошадь! Француженка.

– Да, красивая и совсем молодая, вот как барышня...

Невольные мурашки пробежали по Наденьке.

– Ах, Лев Ильич, охота вам слушать такие страсти.

– И такая веселая, – продолжал фюрер, – шутила все со своим муженьком – я не сказал еще, что она была с мужем, – сидела, так ловко избоченясь... А потом, как стали доставать с глетчера, так и человека-то в ней распознать нельзя было: ни головы, ни рук, ни ног – словно котлета или бифштекс какой, один ком сбитого мяса.

– Ах, Боже! – воскликнула Наденька. – Замолчите, пожалуйста.

Легкой серной побежала она по тропинке, шириною не более аршина и неогороженной к пропасти никакими перилами. Она, казалось, уже забыла, что ее может постигнуть одна участь с несчастной француженкой, что каждый неверный шаг ее связан с опасностью жизни. Какая-то лихорадочная веселость овладела всем ее существом.

И паладина ее подмывало. Он несколько раз собирался о чем-то заговорить с нею и не решался.

– Надежда Николаевна, – начал он было раз.

– Что-с?

Он не отвечал.

– Что же вы?

– Я ничего... я так...

– Ха, ха! Зачем же вы меня звали? Несколько минут спустя он опять назвал ее по имени.

Она весело обернулась.

– Вы это опять «ничего, так»?

– Не правда ли, Надежда Николаевна, только в холостой жизни есть поэзия?

– Очень может быть. А что?

– Да девицы еще до длинных платьев начинают мечтать о замужестве, а так как вы уже в длинном платье...

– То вы опасаетесь, что я в каждом неженатом мужчине вижу жениха?

– Да почти что так. Я хочу доказать вам, что мы с вами можем почитать себя счастливыми, что не вкусили еще семейной прозы.

Наденька принужденно расхохоталась.

– Sir! – подозвала она к себе молодого англичанина. Тот обернулся. – Знаете, что говорит мне этот барин?

– Ну-с?

– Он просит извинения, что не сватается за мной.

Едва произнесла она эти слова, как уже раскаялась в них. Ластов видел сзади, как шея и уши ее загорелись огненным румянцем. Но, не желая показать своего смущенья, она развязно обратилась к поэту:

– Заметили вы, как бездонно-глубокомысленно уставился

на меня этот мистер Плумпудинг? Глаза у него так бесцветны, точно все время под лоб закатывает.

– Знаете, что говорят про вас? – отнесся теперь к англичанину Ластов.

– Что, что? Я понял только: «мистер Плумпудинг». Так, это вы меня, сударыня, изволили величать так?

Наденька смешалась пуще прежнего.

– Какой вы нехороший, Лев Ильич! Смотрите, не смейте говорить.

Не обращая уже внимания на англичанина, ожидавшего ответа, Ластов затянул на знакомый голос:

Lebet wohl, Ihr glatten Sahle,
Glatte Herren, glatte Frauen!
Auf die Berge will ich steigen,
Lachend auf Euch niederschauen.¹¹²

Проводник, казалось, того только и ждал: звонким голо- сом залился он тут же:

Bin i nit a lustge Schwizerbue, —
Не резвый ли швейцарский пастушок я?

заканчивая каждый куплет национальным гортанным припевом, известным у туземцев под названием «Jodeln».

¹¹² Залы гладкие, прощайте, Дамы гладкие, мужчины! В горы я иду, с улыбкой Поглядеть на вас с вершины.

Молодые люди пытались подражать ему, но с весьма сомнительным успехом: у них выходило только какое-то дикое рычанье.

Скалистая, узкая тропинка поднималась все выше и выше. Жар солнца умерялся порывами свежего горного ветра. Путники начинали уже находить удовольствие в утомительном поднятии, входили так сказать во вкус его. Лицо и угли горят, грудь дышит порывисто и скоро, все тело пышет от радным зноем. Чувствуешь, как уходишь все далее от земли, все ближе к этой чистой, глубокой лазури, которая, чем ближе, тем чище и глубже... Запестрели первые рододендроны. Наденька с жадностью принялась набирать их.

– Лев Ильич, помогите мне... А там-то, ах, благодать! Достаньте, пожалуйста!

Ластов смотрит по указанному направлению: несколько саженей над их головами, на почти отвесном скате, расцветает целый лес альпийских роз. Он качает головой:

– Опасно: как раз еще шею сломишь.

– Какой же вы после этого паладин? Смотрите... И в два прыжка она уже у цветов и срывает их охапками.

– Наденька! – успел только вскрикнуть испуганный юноша.

В то же мгновение полновесный камень, на который упиралась нога Наденьки, оторвался от скалы; каменные обломки, песок, альпийская палка гимназистки с шумом и треском проскакали через голову молодого человека; не успел он

опомниться, как скатилась к нему и сама девушка. Он раскрыл объятия, пошатнулся, но удержался на ногах.

– Вот видите! Чуть не поплатились. Наденька, еще бледная от внезапного испуга, принужденно расхохоталась.

– Все из-за вас. Теперь, в наказание, дайте мне свою палку, сами можете понести букет.

И в минуту смертельной опасности она не выпустила из рук собранных ею цветов.

Ластов принял букет; но, сообразив, что до возвращения домой розы все-таки завянут, и на обратном пути, без сомнения, будут набраны новые, выбрал лучшую из них, воткнул ее себе в петличку, остальные незаметно швырнул в пропасть. Вскоре, однако, Наденька заметила его недобросовестность.

– Где же мои цветы? – спросила она.

– Вот, – отвечал он, указывая на розан в петличке, – на пылающем сердце в сей единственный сплвились.

– Не умеете вы хранить вверенное вам добро, – сказала она серьезно и, отняв у него цветок, подала его молодому альбионцу: – Нате.

Тот никак не мог понять, откуда такое великодушие, так как в продолжение последнего часа гимназистка не сказала с ним ни слова.

Наконец после трехчасового подъема была достигнута цель странствия – небольшая хижинка над обрывом, от которой непосредственно уже спускаются на глетчер. Здесь был

сделан привал; из хижины им вынесли хлеба, молока, масла, сыру и дешевого туземного вина, «Landwein» (другого, несмотря на все требования англичан, не оказалось). После часового отдыха туристы под начальством хозяина хижины, опытного горца, собрались на самый глетчер. Пришлось, не без некоторой опасности, слезать по вертикальной, качающейся лестнице. Но все слезли благополучно. Вот они и на леднике! С силою вонзая в ледяную почву железные острия своих коренастых альпийских палок, они перескакивают с глыбы на глыбу, через трещины, через груды льда и камней. При очень крутых спусках главный проводник взятым с собой топором вырубает во льду ступени. Холодом и смертью веет отовсюду: во все стороны расстилается блестящая ледяная равнина, окруженная непреступною стеною снежных гор.

– Давайте в снежки? – предложила Наденька.

Но снегу не оказалось; хотя в последнюю ночь выпал небольшой снежок, но с поверхности он уже успел растаять и покрылся ледяной корою.

– В снежки не приходится, – отвечал Ластов, – но можно в леденцы... – и, отколов острием своей палки несколько осколков от снежно-ледяной глыбы, он сгреб их в охапку и бросил, смеясь, в Наденьку. Та сделала то же, и между ними завязалась оживленная игра «в леденцы».

Один из проводников пригласил их тут осмотреть одну достопримечательность глетчера. Подведя их к широкой

расщелине, он попросил их заглянуть туда; из боковой трещины вырывался с неудержимой силой синий столб воды, аршина два в поперечнике, который, разбрасывая тысячу брызгов и глухо бурля, устремлялся потом в котлообразное жерло. Ледяные стенки жерла, выполированные водою, как зеркало, просвечивали чистейшею берлинскою лазурью. Фюрер дал им отведать этой воды, зачерпнув ее во взятую с собою деревянную чарку и присовокупив к этому:

– Echtes Gletscherwasser.

Молодые люди, однако, не нашли никакого различия между «echtes Gletscherwasser» и обыкновенной ключевой водою.

Молодой англичанин, охлажденный небрежением к нему хорошенькой россиянки, занялся между тем Мурреем и, найдя в нем заметку, что по ту сторону ледяного моря, с так называемого Цезенберга, весьма недурной вид на глетчер, склонил своих соотечественников отправиться туда. Наши русские положительно отказались от этой прогулки, на которую (туда и обратно) потребовалось бы по меньшей мере часа три, и, выпросив себе одного из проводников, обратились вспять. Из валявшихся на леднике груд мрамора, талька, исландского и полевого шпата, слюды, они выбрали себе на память несколько кусков, из которых, впрочем, как само собою разумеется, лишь немногие избранные достигли Интерлакена, так как, по мере приближения к Гридельвальду, один за другим прогуливался в пропасть.

Весело подниматься в гору; веселее еще спускаться, по крайней мере, как спускались Наденька с ее паладином. Опираясь с силою на палку (Ластов добыл себе новую в хижинке), ногами едва касаясь земли, они совершали чудовищные прыжки, каких не увидишь в ином цирке. Этот способ нисхождения, конечно, очень опасен, в сравнении с тем, где альпийскую палку, как тормоз, волочат сзади; но молодые люди наши не думали об опасности, кровь в них лихорадочно волновалась, так и подталкивала на эксцентричности. Поэт смеялся, острил, но веселость его была неестественна, остроты выходили чересчур резки. Гимназистка делалась, напротив, все молчаливее, сосредоточеннее; может быть, и от утомления, головка ее склонялась то на правое, то на левое плечо.

– Итак, мы более не увидимся? – промолвила она, не обращая внимания на новую остроту, сказанную только что ее спутником. – Вы ведь остаетесь в Петербурге? Приходите к нам...

– Но маменька ваша ни слова не говорила мне.

– Ничего не значит. Скажите только, что мы с Лизой пригласили вас. У нас, знаете, собираются ваши братья-студенты, бывают литературные вечера...

– Надежда Николаевна, я хотел попросить вас...

– О чем?

– Дайте мне вашу фотографическую карточку?

– У меня теперь нет их. Да и на что вам? Мы так недавно,

так мало знаем друг друга...

– Мало? Я, по крайней мере, узнал вас очень достаточно, и потому-то и желал бы иметь вашу карточку.

– Но я вам говорю, что у меня нет...

– Есть, неправда. Прошу вас.

– Право, нет. У татап есть одна, и я могла бы утащить ее...

– Ну, вот!

– Хорошо, утащу. Но так как я для вас преступлю восьмую заповедь, то вы также должны сделать для меня одолжение.

– А именно?

– Напишите мне что-нибудь в альбом.

– С удовольствием. Мне уже мерещится конспект стихотворения. Но на карточку, значит, я уже могу рассчитывать?

– Можете.

Ластов подпрыгнул с помощью альпийской палки на сажень от земли и испустил веселое рычание, испугавшее даже фюрера, шедшего за ними.

– Was haben Sie, mein Herr¹¹³? – спросил он, очнувшись.

– Ich jodle¹¹⁴.

¹¹³ Что с вами, мистер? (нем.)

¹¹⁴ Я пою (нем.)

XXI. Как сватаются нынче

По уходе экскурсантов на балконе гриндельвальдской гостиницы остались лишь наши шахматисты. Но о шахматах ни один из них не думал; те так и остались в экипаже. Змеин, налегшись на перила, глядел рассеянно в солнечный ландшафт; его, казалось, занимало одинокое облако, парившее около вершины Мёнха, сурового отшельника гор, почти никогда не снимающего с головы своей серой капуцы. Лиза также безмолвствовала, но черты ее не показывали обычного спокойствия, взор ее поднимался несколько раз на собеседника, нижняя губа страдала от зубов, которые ее немилосердно теребили. Но вот она оправилась, сжала с решимостью губы, прищурила глаза и сделалась еще бледнее обыкновенного.

– Александр Александрович, – произнесла она сдержанным голосом, в котором, однако, тщетно старалась подавить признаки внутреннего волнения, – я хотела бы серьезно поговорить с вами.

Змеин с любопытством взглянул на нее.

– Да? Разве мы и так не говорим всегда о предметах серьезных?

– Только не о таких. Скажите наперед: вы наверное уезжаете завтра?

– Думаю.

– Так можно, значит, говорить без обиняков. Все-таки не увидимся более.

Внимание Змеина удвоилось.

– Я слушаю.

– Отец мой, Александр Александрович, дает за мной, в случае моего замужества, пятнадцать тысяч; это, если хотите, и немного, но, считая по пяти процентов – в год это даст все-таки семьсот пятьдесят рублей – сумму, вполне достаточную для одного человека. Я не идеал женщины, еще менее ваш идеал, но идеалы существуют в одном воображении. Мы, смертные, все с недостатками и слабостями. Между тем я не могла не заметить, что вы отдаете мне предпочтение перед всеми здешними дамами, что вы ищете даже моего общества – явный признак, что я вам несколько нравлюсь; а так как и вы мне не то чтобы не нравились, то... какого вы мнения насчет законного брака? Я заговорила сначала о приданом, чтоб показать вам, что тут нет корыстных видов, что я могу просуществовать и без вас.

Стараясь говорить как можно спокойнее, практичнее, экзистентка все-таки вздохнула из глубины души, когда облегчила себя признанием; на бледных щеках ее появились два розовых пятна.

Змеин уставился в пол, насупил брови и промычал:

– Гм...

Девушка не вытерпела.

– Итак?

Он с усмешкою поднял голову.

– А что же ваша решимость никогда не выходить замуж? Что профессура?

Лиза нетерпеливо топнула ногой.

– Я полагаюсь на вашу деликатность, а вы рады поточить зубок. Из моего предложения вы можете, кажется, ясно видеть, что ваши лекции не пропали даром.

Лицо Змеина сделалось серьезным.

– Откровенность за откровенность, Лизавета Николаевна. Вы мне действительно нравитесь: вы прямодушны, без всякой фальши, вы начитанны, вы играете изрядно в шахматы, но для жены, для матери, для хозяйки требуется нечто более...

– Но ведь я еще молода? – перебила Лиза. – Мне всего семнадцать, в будущем мае минет девятнадцать. Под вашим руководством я могу исправиться, я переломлю себя...

Змеин усмехнулся.

– Под моим руководством? Мне вас учить бульон варить, детей качать? На одно – требуется навык, на другое – чувство... Чувство, конечно, я мог бы еще вдохнуть в вас...

– И уже вдохнули!

– Бог весть! Может быть, это только так, фантазия, минутная вспышка. Я молод, не дурен собой, неглуп – нетрудно было произвести на вас некоторое впечатление. Но я-то, я за что привязался к вам? Ведь есть же на свете и другие женщины начитанные и играющие в шахматы, но и с чувством,

с знаниями в хозяйстве?

Лиза даже не обиделась от этих резких слов.

– Я также молода, недурна собой и неглупа – вы полюбили меня за то же, за что я вас. Ангелов, как сказано, нет на свете, и если вы не хотите, то как знаете; никто вас не принуждает.

Змеин схватился за голову.

– Если б вы знали, какой у меня здесь сумбур! Я вижу все ваши недостатки, а между тем так привязался к вам, что трудно отказаться. Ведь и я думал сделать вам предложение... Боялся отказа, боялся будущности... а теперь что-то страшно. Дайте обдумать...

– Обдумайте. Я уйду...

– Нет, оставайтесь. Лучше я сам пройдуся на вольном воздухе, может быть, прояснятся мысли. Как только решусь на что – тут же вернусь к вам.

– Ступайте.

С час уже дожидается Лиза возвращения Змеина. Она вошла с балкона в дом, прохаживается взад и вперед по обширной столовой гостиницы, то присядет, то опять примется ходить. Приближаясь к стеклянной двери на балкон, она всякий раз окидывает быстрым взглядом долину. Снова подходит она к двери – в глазах ее блеснуло беспокойство: по дорожке, между изгородями, приближался Змеин. Она осмотрелась в комнате и присела на диван; потом, одумавшись, вскочила и, как бы желая отдалить роковую минуту, поспешила на балкон и захлопнула за собою дверь. Не успела она

принять непринужденную позу на своем стуле, как зазвене-
ла дверь и грянул к ней Змеин.

Тяжело дыша, опустил он на стул против девушки.

– Я решился.

Молча ожидала она, в чем заключается это решение.

– Видите ли... Уф, умаялся... После основательного об-
суждения pro и contra, я наглед, что под известным услови-
ем на вас можно жениться. Вы хотя и вовсе непрактичны,
несколько взбалмошны и слишком заняты своей ученостью,
но все-таки феномен между нынешними девицами...

– То есть на безрыбье и рак рыба? Неутешительно! А я
всегда считала себя настоящей рыбой.

– Вы рыба, правда, но только в отношении чувства. А что-
бы быть нежной женою, добросовестной матерью, необходи-
мо неподдельное, теплое чувство.

– Да ведь я же полюбила вас? Значит – есть чувство...

– Да какое! Может быть, мимоходное, так себе, жажда
любви, как выражается Ластов. Чтобы увериться в подлин-
ности, неэфемерности вашей любви, надо назначить срок.
Если по истечении, например, года, вы еще будете ощущать
то же самое желание сочетаться со мною, то тогда... Сегодня
которое число? Пятое?

– Целый день пятое, – сострила, для ободрения себя, Ли-
за.

– Завтра, значит, шестое. Положим же не видаться до ше-
стого июля будущего года.

– Согласна. И мне необходим годичный срок, чтобы увериться в вас. Но до тех пор, мы, разумеется, никого не посвящаем в нашу сделку?

– К чему? Может быть, и разойдемся.

– А как быть нам сегодня, Александр Александрович? Мы же обучены, так сказать...

– Пока другие не воротились с глетчера, мы можем обходиться друг с другом, как жених и невеста.

– Да как же обходятся жених и невеста? Я всегда отворачивалась от обрученных – тошно видеть: целуются, жмут друг другу руки...

– Значит, и нам надо целоваться, жать руки.

Лиза покраснела; на лице ее обнаружилась внутренняя борьба, борьба девственной стыдливости и молодечества.

– Натe, – сказала она, протягивая к нему обе руки, – жмите.

Он крепко сжал их в своих.

– Но это еще не все – надо целоваться.

– Да я жду, что вы начнете...

– Невеста, как женщина, должна выказывать всегда более чувства и потому целовать первая должны вы.

– Так и быть! Смотрите же, как вас любят... Бросившись к нему, она обвила его шею руками, присела к нему на колени и с жаром поцеловала его несколько раз.

– Фу, какой бородатый! Вы непременно сбейте усы.

И новые поцелуи. Змеин едва мог прийти в себя.

– Полноте, Лизавета Николаевна, довольно... Вы точно у самого Амура уроки брали.

– Ага, то-то же! А говорите еще, что я бесчувственна. Однако, что ж это мы на *вы*? Обрученные, кажется, всегда на *ты*? Значит, *ты*, Сашенька, Сашурочка, *ты*?

Она опять звонко поцеловала его.

– Ты-то *ты*, но знаешь, милая, ты отдала мне колени, привстань, пожалуйста. Вот и кучер наш из-под ворот смотрит сюда – нехорошо.

– Чем же нехорошо? Пусть смотрит, пусть целый мир смотрит во все свои миллионы глаз – что мне до них? Общественное мнение – сам знаешь – вздор. Хочу любить – и люблю! Пусть смотрят и учатся.

– Но живые картины подобного рода не нуждаются в посторонних зрителях... разве тебе не неловко?

– Напротив, очень ловко: колени у тебя прямижки. Змеин нахмурился.

– Но мне тяжело держать тебя: ты из полновесных.

– Если тебе точно тяжело, то можно и привстать. Но что с тобой, мой друг? – прибавила она, заметив, что он угрюмо поник головой. – Ты никак дуешься? Развеять тебе думы с чела поцелуем, как ты сам выразил раз?

– Нет, не нужно... Я придумываю, чего тебе недостает. Чего-то важного...

– Ты говорил: чувства. Но я, кажется, доказала тебе, что не совсем бесчувственна.

– Нет, не чувства, чего-то другого... Змеин опять призадумался.

XXII. Откровения и разлад

После сытного обеда, за которым в честь обручения была опорожнена бутылка иоганисбергера, облако на лице жениха рассеялось. Рука об руку вышли они с невестою на улицу и побрели между цветущих палисадников, с пригорка на пригорок. Солнце садилось; воздух, наполненный запахом свежескошенной травы, делался сноснее, прохладнее.

– Не знаю, как тебе, друг Саша, – говорила молодая девушка, с любовью прижимаясь к нареченному, – мне так представляется, что целый мир нарядился нарочно для нас в свое лучшее праздничное платье: и деревья-то, и шиповник, и изгородь. Солнце светит как-то особенно мягко, ласково, птицы наперерыв щебечут. Точно все ликует, что сошлись две порядочные личности, чтобы не расставаться навеки. Я вообразить себе не могу, как быть без тебя, как я столько долгих лет прожила без тебя. Нет, я до сих пор не жила – я прозябала.

Жених слушал ее с видимым удовольствием.

– Действительно у тебя, кажется, начинает обнаруживаться чувство. Я ведь говорил тебе, что высшее для женщины в жизни – любовь.

– Любовь? Вы, кажется, воображаете, сударь, что мы влюблены в вас? Какое высокомерие! Мы только жалеем вас, видим: человек изнывает, убивается по нас, ну, нельзя же не

подать руки. Гуманность...

– Вот как! И по той же гуманности вы сами не можете жить без нас? Гуманность самая утонченная.

Лиза схватила его руку и прижала ее к губам.

– Милый ты мой, милый! Ни на кого тебя не променяю.

Он отнял руку и поцеловал девушку в лоб.

– Ты забываешь Лиза, что ты уже не мужчина, женщины никогда не целуют рук у нашего брата.

– А я целую, мне так нравится. Кто мне запретит?

– Да, может быть, так понравится, что потом трудно будет отстать, а завтра же придется отказаться от этого удовольствия.

– Так ты не раздумал? Бессердечный!

– Раздумывать-то раздумывал, да не раздумал. Теперь мне и самому жаль своего первого решения. Целый год ведь ждать!

– Так что же тебя удерживает?

– Да я знаю, что когда принял то решение, то рассуждал холоднее, значит, и рациональнее. Хмель любви делает меня теперь пристрастным.

– Будь по-твоему, рассудок мой. Ведь ты рассудок, я – чувство? Только мы вместе составляем целого человека. Видишь, как я хорошо запомнила твое ученье.

Пускай же! Покинь меня завтра!

Зато я сегодня твоя,

Зато в твоих милых объятиях
Сегодня блаженствую я!

Откуда, бишь, эти стихи? Как видишь, и я делаюсь поэтичной. Ну, поцелуй же меня за то. Како ты большой! Наклонись – мне не достать.

– Если б ты знал, Сашенька, – начала она опять после основательного поцелуя, – как мне было совестно признаться тебе! Вдруг изменить так свои убеждения. Я сама не знала, что со мной: так и хотелось обнять тебя. А ты такой медведь – и ухом не ведешь, точно и не нравлюсь вовсе! Ждала-ждала, не признается ли... Нет! Пришлось самой начинать. А видит Бог, как было тяжело. Я даже забыла план, который составила было на этот случай: как станешь ты изъясняться, думала я, я приведу в ответ, что мы еще слишком мало знаем друг друга, что каждый из нас должен чистосердечно покаяться в своих слабостях, недостатках и прегрешениях...

– А дельная мысль, – подхватил Змеин. – Действительно, бесполезно знать слабые стороны своей законной половины до свадьбы, чтобы не было потом раскаянья. Теперь еще время, будем же признаваться, кто в чем повинен.

– Будем. Но у меня столько несовершенств, что я, право, не знаю, с чего начать.

– Помочь тебе?

– Ну?

– Ты, как я заметил, любишь петь: как углубишься в шах-

матную партию, сейчас запеваешь, да и тянешь в продолжение всей игры одно и то же.

– Да, а что?

– Да у тебя, милая моя, голоса нет!

– Как нет! Не слышишь? Еще какой! *basso profundo*¹¹⁵!

– Только не музыкальный.

– Ну, это может быть. Чего у меня нет, признаться, так это слуха...

– Это еще хуже. Слушать пение человека, не имеющего ни слуха, ни голоса, – извини меня, величайшее мучение. Как только ты, бывало, запоешь – так сердце у меня и занает. Оттого-то я, вероятно, столько партий и проигрывал тебе.

– Ну да, хорош гусь! Нет, я играю не хуже тебя, оттого.

– Положим, не хочу спорить. Но что у тебя нет ни голоса, ни слуха – также вопрос решенный. Потому первым условием нашего будущего союза пусть будет отказ твой от пения.

– А если я не соглашусь на это условие? Что за деспотизм! Хочешь петь – а тебе запрещают. А ведь чего нельзя, того-то именно и хочется. Запретный плод всего слаще.

– Так ты не соглашаешься на этот пункт?

– Если б не согласилась?

– Тогда... тогда я все же взял бы тебя! Бог с тобой, пой на здоровье, так как ты уж такая записная певица, но не взыскивай также, если я при первых звуках твоей песни буду обращаться в поспешное бегство.

¹¹⁵ Глубокий бас (*ит.*)

– Так и быть, – сказала Лиза, – хотя я и смерть люблю петь, но так как оно тебе неприятно, то обещаюсь никогда не петь в твоём присутствии.

– И за то спасибо. Этот пункт улажен. Теперь очередь за мной. Есть у меня недостаток, равносильный с твоим: я левша.

– Будто? Я до сих пор не заметила.

– Потому не заметила, что я в большей части случаев уже превозмог себя. Но скольких усилий стоило мне это! Шутка сказать: резать правой рукой, есть суп правой! Что ты смеешься? Попробуй-ка, если она у тебя от природы слабее! За что ни возьмешься, везде суется левая. Взял нож в правую – глядишь, а уж он в левой. Сколько партий на бильярде проделал я, пока не научился держать кий в правой; сколько раз засадался в карты, пока не наострился сдавать как еледует... Да ну, на каждом почти шагу приходилось мне бороться против своей природы, и вот, добился того, что никто не подозревает во мне левши. Только бить не могу правой: левая все же сильнее.

– Боюсь, что тебе не придется упражнять ее на мне, – улыбнулась Лиза. – Ну, да это еще ничего, вот, у меня есть недостаток... Ты ведь знаешь, что я пью здесь сыворотки?

– Знаю.

– Но знаешь ли, против чего?

Не хуже медика начала она рассказывать ему о своей болезни. Его передернуло: он, казалось, не ожидал от нее такой

наивной беззастенчивости.

– Вот доктора и посоветовали мне поскорее выйти замуж...

Змеин не вытерпел и грубо оттолкнул от себя ее руку, упиравшуюся на него.

– Какие речи!.. Вот плоды вашей прославленной эмансипации! Догадался я, чего тебе недостает: женственности, женственности нет в тебе! Дурак я, болваниссимум!

Лиза также взволновалась.

– Позвольте узнать, Александр Александрович, за что вы назвали себя дураком? Не за то ли, что приняли мою руку?

– За то, душа моя, за то!

Лицо Лизы страшно побледнело.

– Не хочу я жертв, возьмите назад ваше слово. Благо, высказались еще вовремя. Вы не хотите меня – ну, и мне вас не нужно, как-нибудь доживем и без вас. Но, разумеется, о том, что было между нами, никто не узнает?

Змеин, расстроганный, подал ей руку.

– От меня, по крайней мере, нет, если не проболтается наш кучер, видевший одну живую картину. Пожалуйста, не осуждайте меня, Лизавета Николаевна! Если б вы знали, как тяжело мне отказаться от вас. Но так, видно, лучше. Я теперь почти уверен, что из нас не вышло бы хороших супругов. Вы не сердитесь?

– Прошу покорно! – захохотала сардоническим смехом Лиза. – Разрушает всю твою будущность – и не сердись! Сер-

даться-то я хоть имею право!

– Разумеется, можете, – отвечал печально Змеин, – но после всех интимностей между нами, я чувствую себя как бы в долгу у вас. Вы расточали мне свои ласки...

– Ха ха, не хотите ли вы мне заплатить за них? Интересно бы знать, во сколько вы оцените их? Нет, Александр Александрович, на этот счет ваша совесть может быть совершенно спокойна: вы целовали, миловали меня, я вас – мы квиты. Да не послужат вам мои ласки во зло, я расточила их вам от чистого, бескорыстного сердца...

Лиза замолкла и отвернулась. Змеин заметил, как по щекам ее скатились две крупные слезы.

– Не вернуться ли нам? – прошептала она, утирая тайком глаза. – У меня болят зубы, слышите?

И, сняв косынку, она обвязала себе ею щеку. Так кончилась желанная поездка в Гриндельвальд...

XXIII. Как прощались сестры Липецкие

Настало последнее утро. В «садовой комнате», про которую мы уже упомянули в начале нашего рассказа, сидела на подоконнике Наденька, перелистывая «Трех Мушкетеров», которых взяла с полки, украшающей одну стену комнаты. Но ни картинки, комментирующие романтические похождения дюмазовских героев, ни самый текст, по-видимому, не могли достаточно приковать внимание молодой гимназистки: по-минутно прикладывалась она лбом к стеклу, чтобы окинуть беглым взглядом дорожку, ведущую от главного здания. Вдруг легкий трепет пробежал по членам девушки; она отделилась от окна и низко наклонилась над фолиантом. По дорожке послышались шаги, и в комнату вошли наши два друга.

– Здравствуйте, Надежда Николаевна.

– А, Лев Ильич! Здравствуйте. Я вас и не заметила. Упаковали свои пожитки?

– Все шито и крыто. Пришли проститься.

– А стихи написали?

– Как же! А карточка?

– Припасена. Когда же вы успели написать их?

– Ночью. Во втором часу окончил.

– Бедный! И не выспались хорошенько. Я спала отлично.

Дайте-ка их сюда.

Ластов вынул лист почтовой бумаги, вчетверо сложенный.

– Но вы не должны никому показывать, – заметил он.

– Отчего? Я, напротив, буду хвастаться перед всеми: на-верное, прехорошенькие.

– Нет, я написал их исключительно для вас, и не хочу, чтобы кто-нибудь другой читал их.

– Да нашим-то, татап и Лизе, можно показать?

– Им всего менее.

В это самое время откуда ни возьмись татап Наденьки. Ее появление удивило всех тем более, что в другие дни она никогда не вставала ранее полудня. Но уже накануне распушила она своих строптивых чад за самовольную отлучку в Гриндельвальд; теперь, вероятно, возникли в ней небезосновательные опасения, что внезапный отъезд двух друзей может дать повод к еще более эксцентрическим выходкам со стороны эмансипированных барышень.

– Ах, татап, – обратилась к входящей Наденька, – вот Лев Ильич написал мне стихотворение, но не дает мне его иначе как с тем, чтобы я никому не показывала. Ведь нельзя же мне брать?

– Certainement¹¹⁶ нельзя, – с достоинством отвечала аристократка. – Девушки, m-г Ластов, никогда не должны иметь секретов от матерей; примите это к сведению.

– Вот видите, Лев Ильич, отдайте же стихи татап, она

¹¹⁶ Конечно (*фр.*)

уже передаст мне.

Ластову стало крайне неловко: он никак не подозревал в Наденьке такой детской наивности – какую она выказала в этом случае.

– Я не люблю хвалиться своими произведениями и показываю их только тем, для кого они предназначены, – объяснил он.

– А в таком случае вовсе не нужно. Allons prendre du cafe, ma chere¹¹⁷.

– А l'instant¹¹⁸, – отвечала дочь и, когда мать вышла, обратилась к поэту. – Что же, Лев Ильич?

– А Лиза где, то есть Лизавета Николаевна? – спросил тут Змеин, стоявший до этого безучастно у ближнего окна.

– Лиза? Она, но обыкновению, встала в шесть часов и теперь, после сывороток, прохаживается для моциона. Кстати: не знаете ли вы, Александр Александрович, как натуралист, какого-нибудь средства от зубной боли?

Змеин усмехнулся.

– А зубы у сестрицы вашей все еще не прошли со вчерашнего?

– Какое! Просыпаюсь, знаете, ночью и слышу – рыдают. Неужто, думаю, Лиза! Вслушиваюсь – так, она. «Что, говорю, с тобой?» – «Зубы!» – шепчет она и опять в слезы. Я просто удивилась: не запомню, когда она прежде плакала. Долж-

¹¹⁷ Давайте пить кофе, дорогие (*фр.*)

¹¹⁸ Сейчас (*фр.*)

но быть, невыносимо было.

– Средство-то у меня есть, – сказал со странною улыбкою Змеин, – да не знаю, поможет ли.

– Какое ж это?

– Симпатическое: я заговариваю зубы.

– Как? Вы, натуралист, верите в заговариванье?

– Всяко бывает. У меня такие заветные слова...

– Так что же вы не испробуете их силы над Лизой, если так уверены в них?

– Заговариванье, видите ли, своего рода магнетизирование, а магнетизер теряет всегда некоторую часть своих сил, когда магнетизирует...

– И вам жаль частицы ваших геркулесовых сил, хотя можете принести этим облегчение ближнему? Стыдитесь!

– Надо будет попытаться, – решился Змеин и отправился отыскивать страждущую.

Застал он ее у кургауза, прохаживающеюся, с обвязанною по-вчерашнему щекою, взад и вперед под густолиственным шатром аллеиных дерев; глаза ее были заметно красны, на лице высказывалось глубочайшее уныние.

– Здравствуйте, – начал Змеин. – Я хотел до отъезда сказать вам еще пару слов.

Лиза холодно взглянула на него и отвернулась в сторону.

– Вы спросите наперед, хочу ли я слушать вас?

– Вы должны выслушать меня...

– К чему? Мы уже чужды друг другу.

– Не говорите этого, все еще может устроиться к лучшему. Я обдумал наш вчерашний разговор и нашел, что выходки ваши, хотя и были неженственны, но могли быть следствием крайней экзальтации, желания порисоваться, во что бы то ни стало показать себя женщиной современной. Сверх того, вы занимаетесь естественными науками, а следовательно, и на жизнь, на отношения двух полов смотрите совершенно просто, с точки зрения дикарей и – натуралистов. Так я пришел к заключению, что вы еще можете исправиться...

– Не исправлюсь, никогда и никогда! – перебила с сердцем Лиза. – Я бесчувственная, безжизненная статуя, чего ж вам от меня?

– Что вы не бесчувственны, видно уже из того обстоятельства, что вы так горько плакали обо мне.

– Ну да!

Она хотела удалиться и сделала несколько шагов. Он догнал ее.

– Что за ребячество! Я же сознаюсь, что поступил опрометчиво, отказавшись от вас наотрез. Определим опять годичный срок...

– И для этого вы отыскиали меня?

– Да.

– Могли бы и не делать себе труда! Вы в самом деле вообразили, что я влюбилась в вас, что я поверила вашим софизмам о назначении женщины к семейной жизни? Ха, ха! Какой же вы простак! Я потешалась над вами, я хотела толь-

ко знать, могу ли я влюбить в себя такого медведя, как вы. Ну, и убедилась, довольно с меня. Ха, ха, ха! А вы и обрадовались? Думали: вот заставил страдать женщину? Неопытны вы еще, мальчик вы, вот что. Имею честь кланяться.

Змеин не знал, что и подумать.

– Нет, не может быть, Лиза, вы представляетесь, вы хотите только отомстить.

– А вы думаете, в нас нет гордости?

– Не гордость это – упрямство.

– Гордость или упрямство – не в том дело. Ведь мы, люди, ни в чем не виноваты, виноваты во всем обстоятельства? Вы же сами говорили. Значит, и мое упрямство от меня не зависит? Но довольно воду в ступе толочь. Кланяйтесь и благодарите.

Змеин уже не удерживал ее.

– Пат! – пробормотал он и уныло поплелся своей дорогой.

Не таково было прощание гимназистки с поэтом.

– Так вы мне, значит, стихов и не дадите? – говорила она ему по выходе Змеина.

– Та и не дам.

– Ну, и вам не будет карточки. Довольно, однако ж, об этом. Вы еще не прощались с Интерлакеном?

– Как так не прощался? Разве надо особенным образом прощаться?

– А то как же. Научить вас?

– Сделайте милость.

– Ступайте за мной.

Она вышла в садик, он последовал за нею. По раннему часу утра там не было еще ни души. Благоухания сотен роз носились в теплом, тихом воздухе. На горизонте сверкала во всей своей прелести снежная Юнгфрау, лишь в некоторых местах обвеянная воздушными утренними облачками.

– Первым делом проститесь с девой гор, которая столько времени безвозмездно услаждала ваши взоры.

Ластов упал на оба колена и воздел руки к небу.

– О, дивная дева, прости великодушно, что я, как от огня, бегу от тебя. Но уже вчера имел я случай тебе докладывать, почему считаю супружество в мои лета глупостью, а останься я еще здесь – чего доброго, не устоял бы, предложил бы тебе руку и сердце.

– Ну, довольно, довольно... – перебила с замешательством Наденька. – Теперь проститесь с интерлакенской почвой, которую бременили в продолжение стольких счастливых дней. Не женируйтесь, почеломкайтесь.

Ластов наклонился к земле и приложился к ней губами, потом отплюнул и вытер рот.

– Брр, какой сухой поцелуй, даже зубы скрипят. Наденька рассмеялась.

– Ну, встаньте, теперь надо вам проститься с садом, с розами...

Она подвела его к первому розовому кусту и наклоняла к нему поочередно каждый цветок; он послушно целовал их.

– Ах, какая великолепная! – воскликнула вдруг девушка и сорвала пышный, пунцовый розан. – Вы оказались довольно верным паладином, надо сдержать слово. Давайте сюда шляпу.

Молодой человек подал ее и заметил тихим голосом:

– А вы знаете, что значит пунцовый цвет на языке цветов?

Наденька не отвечала и продолжала прищипливать розу, но на щеках ее начал выступать высокий румянец. Окончив свою работу, она накрыла украшенную шляпою голову Ластова и отступила на шаг назад полюбоваться ею.

– Как вам это идет!

– Вы находите? А ведь с лучшей-то розой, Надежда Николаевна, я еще не простился.

Наденька оглянулась по сторонам; поблизости никого не было.

– Так проститесь с нею, – прошептала она чуть слышно, с опущенными глазами. – Что ж вы? Я не кусаюсь...

Ластов, не поверивший в первый момент своим ушам, не дал повторить себе это, быстро обнял девушку и припал к ее полураскрытым, свежим губкам.

– Довольно... оставьте... – лепетала гимназистка, вырываясь из его плотных объятий. – Это было за всех...

И, высвободившись, она, как преследуемая лань, умчалась в отворенную дверь дома.

XXIV. Как прощалась Мари

Минуты две простоял еще Ластов на одном месте по исчезновении Наденьки; виски у него бились, лицо пылало. Но он вспомнил о скором отъезде, провел по лицу рукою, тряхнул кудрями и взглянул на часы: до отхода дилижанса оставалось не более десяти минут. Он поспешил наверх, в свою комнату, за вещами.

Первое, что представилось тут его глазам, была Мари, грустная, смертельно бледная, на стуле около двери. Ластов предвидел эту минуту, минуту разлуки с сентиментальной швейцаркой, но все-таки, при наступлении ее, был сильно озадачен.

– Мари... – мог только пробормотать он; в нерешимости остановился он перед девушкой.

– Да, я, – отвечала она беззвучным голосом, уставясь с тупою сосредоточенностью в лицо возлюбленного; две крупные слезы скатились из глаз ее. – Да, я, – повторила она и с укоризной покачала головой. – Целуйтесь, целуйтесь с ней... Кто вам может запретить?

– Так ты видела?

– Целуются среди белого дня, в саду, куда выходят двадцать окон – и не видеть!

Ластов поник головой, не зная, что и сказать на это.

– Что вам в простой девушке, в горничной? – продолжала

Мари. – Что вам в простом полевом цветке? Взяли, понюхали да и бросили.

– Но, Мари, я, право...

– Что «право»? Не представляйтесь, по крайней мере, не лгите! Ну, похитили сердце, ну, хотите убежать с ним... Хоть бы дали взамен частицу собственного сердца! Что ж вы не смеетесь? Ведь смешно сказано: вы, барин, тоже вор. Вор, до которого, однако, нет дела полиции. Ужасно забавно! Ха, ха, ха! Ну, смейтесь?

– Милая Мари, я кругом виноват, тут и речи не может быть. Но послушай: если я такой негодяй, то стоит ли кручиниться обо мне? Что тебе в таком обманщике? Брось меня, забудь!

– Забыть?! Это все равно, что сказать умирающему с голоду: «Перестань, не голодай». Забыть! Да ты вся моя страсть, вся моя жизнь – и забыть тебя?..

– Ну, если не забыть, то можешь, по крайней мере, перестать любить.

– Или дышать? Или жить? Потому что не любить тебя – для меня то же, что не дышать, не жить.

– Ты, милая, взволнована и рассуждаешь потому непоследовательно. Если человек – дрянь, то не за что и любить его.

– Ах, не говори этого! Ты всем хорош, только одно, что обманул меня... Но чем более вы нас обманываете, тем более мы привязываемся к вам...

И, закрыв лицо руками, она залилась горячими слезами.

Чем меньше женщину мы любим,
Тем легче нравимся мы ей, —

вспомнилось невольню Ластову.

«Что же делать? – рассуждал он сам с собою. – Утешать, уверять, что люблю по-прежнему? Да я же не люблю ее... и к чему это поведет? Только продлит страдания бедняжки. Нет, надо оборвать все нити разом! Пусть презирает, но не мучится из-за меня».

Он с решимостью подошел к столу, переброшил через плечо сумку и раскрыл ее.

– Я должен идти, любезная Мари. Ты была всегда так мила, так предупредительна со мной, что я, право, не знаю хорошенько, чем отблагодарить тебя. Я купил бы тебе на память какую-нибудь вещицу, но как ты сама лучше моего знаешь, что тебе именно нужно, то вот возьми...

Он подал ей несколько червонцев. Расчет его был верен: девушка вскрикнула, вскочила, как ужаленная, со стула и схватилась за ручку двери; но тут силы изменили ей: она зашаталась и прислонилась к косяку. В глазах ее, устремленных в пространство, блеснуло отчаяние до безумия. Сухие, воспаленные губы смыкались и размыкались, но ни звука не проходило через них.

Ластов перепугался не на шутку. Поспешно припрятал он деньги и вовремя еще поддержал несчастную, не решаясь,

однако, сказать что-либо ей в утешение, чтобы как-нибудь не раздражить ее еще более. Вдруг слезы, как долго сдерживаемый плотиною поток, брызнули из глаз ее, и, повиснув на шее молодого человека, она истерически зарыдала.

– Вот до чего я дожила! – слышалось сквозь рыдания. – Человек, которому я рада жизнь отдать, думает отвязаться от меня золотом! Бедная я, бедненькая!

Он осторожно поцеловал ее в лоб.

– Милая, успокойся! Ведь я же люблю тебя...

– Да не лги, бессовестный! – почти взвизгнула она и сурово оттолкнула его. – Если любят, разве целуют в лоб? О, я несчастная!

Колени у нее подкосились, и она ничком грохнулась на пол.

– Ах ты, Боже мой... – бормотал растерянный юноша, наклоняясь в испуге к безутешной.

Немного он успокоился, когда уверился, что она при падении не расшиблась опасно: рыдания ее продолжались довольно равномерно. Мало-помалу шумный ливень превратился в благотворный мелкий дождик. Плачущая приподняла голову, присела на полу и устремила свои глубокие, томные очи на возлюбленного изменника.

– Да любил ли ты меня хоть когда, злой человек? Теперь ты меня не любишь, это верно; но любил ли хоть прежде?

– Любил, милая, право, любил...

– Но за что тебе было любить меня? Скажи, за что? Ду-

рочка я, глупенькая. И поверила ему...

– Как за что? Разве ты не была всегда ко мне так приветлива, разве твое хорошенькое личико может не нравиться?..

– А! Вот что! Так тебя пленяла не я, а моя красивая маска? Будь я немножко дурнее, ты бы и не взглянул на меня? Ох, горе ты мое, горе! О-ох!

– Да полно же, дитяtko мое, ребеночек полно, – вразумлял ее натуралист, – чего же тут убиваться? Разве женщина может пленить чем другим? Главное в ней – прелесть обхождения и телесная красота. Если бы мы влюблялись только в ум, то, конечно, не пленялись бы женщинами, а мужчинами.

Слова молодого человека не только не успокоили швейцарки, они привели ее в полное отчаяние: приложившись головою к стулу и дрожа всем телом, она опять зарыдала:

– Ох, тошно мне, тошнехонько!

– Дорогая моя, ангел мой, перестань, мне надо ехать, не расстаться же так? – говорил Ластов, обнимая ее и стараясь придать своему голосу возможно большую нежность.

Мари, задыхаясь от слез, твердила свое:

– Ох, тошно мне! Матушки мои, как тошно! Нечего, кажется, говорить, что положение Ластова было самое незавидное: слезы почти так же заразительны, как зевота, в особенности если знаешь, что сам ты причина их. Поэту нашему сильно щемило сердце, и что-то начало уже подступать к горлу, к глазам. Он ощутил неодолимое желание почесать у себя за ухом; но – обеими руками поддерживал он плачущую, и

нечем было привести в исполнение задушевную мысль. Тут вспомнилось ему, что подравшихся собак разливают холодной водою; он поднял голову: на столе стоял, по обыкновению, полный графин. Тихонько вытащил он свои руки из-под мышек девушки и хотел подойти к столу; та схватила его за руку:

– Ах, не уходи, не оставляй меня!

– Да я не уйду, я только за водой.

И, почесав теперь за ухом, он торопливо налил в стакан воды и воротился с ним к девушке. И в этот раз он рассчитал верно: едва сделала она два-три глотка, как утихла; несколько погодя приподнялась с полу, присела на стул и отерла широким рукавом слезы; затем, глубоко вздохнув, выпила с жадностью остаток воды и отдала стакан молодому человеку.

– Ну, наплакалась, – произнесла она, сияясь улыбнуться. – Ты не взыскивай, милый мой, ведь я не Лотта... Да и за что мне сердиться на тебя? Разве ты виноват, что нашлась девушка лучше меня? Ты и не такой еще достоин.

– Добрая моя...

– Полно, не представляйся, я знаю, что я теперь тебе бельмо на глазу, что у тебя в эту минуту только одно на уме: как бы скорее отвязаться от меня.

– О, нет, Мари, ты ошибаешься...

– Не хитри хоть перед концом, разве я не вижу? Глаза влюбленной зорки. Но ты был прав, говоря, что так нам нельзя расстаться; разойдемся друзьями. Если я тебя чем обиде-

ла, если надоедала – прости великодушно, не поминай лихом.

– Милая, как же ты можешь думать... Я готов в эту минуту все сделать для тебя.

– Правда.

– Сущая.

– Так я имела бы к тебе просьбу... Ластов невольно нахмурился:

«Ах, черт возьми, ну, попросит отказаться от Наденьки?»

– Подари мне на память эту булавку.

Галстук поэта был зашпилен золотую, с эмалью, булавкой. Лицо его прояснилось, и с необыкновенной готовностью отцепил он булавку, так что повредил даже галстук.

– На, любезная Мари.

В это время за окнами послышался стук колес. Ластов встрепенулся:

– Дилижанс! Пора. Прощай, моя дорогая...

Она бросилась к нему на шею и стала осыпать его жгучими поцелуями. Потом тихо оттолкнула от себя.

– Ступай, тебя дожидаются. Да хранит тебя Господь.

Она упала в бессилии на стул.

Ластов схватил в одну руку чемодан, в другую – альпийскую палку, трость и плед и, наскоро поцеловав еще раз девушку, выбежал на лестницу.

Дилижанс действительно уже дожидался внизу, перед площадкою отеля; около него толпилось несколько Я'ских,

пансионеров, в том числе Змеин, Брони, Наденька и мать последней. Бросив чемодан к остальной поклаже на империал дилижанса, Ластов взял под руку корпорната и отвел его в сторону:

– У меня, друг мой, есть к тебе небольшое поручение. Исполнишь?

– Вопрос! Само собою. В чем дело? Ластов достал свое послание к Наденьке.

– Как мы отъедем, так передай, пожалуйста, младшей Липецкой, да чтобы никто не видел.

– А, а! Хвалю. Но мне полюбопытствовать можно?

– Нет, и тебе нельзя. Мы отправляемся теперь на женевское озеро, а там в благословенный край,

Где вечный лавр и кипарис
По воле гордо разрослись.

Так если бы пришлось почему-либо писать, ты можешь адресовать в Неаполь.

– Да что ж это тебя так баснословно ехать приспичило? А! Понимаю:

Vor der Liebe ein Jiingling lief,
Glaubte, sie ware hinter ihm,
Doch sie sass ihm im Herzen tief.¹¹⁹

¹¹⁹ От любви ли юноша бежал, Думал, что злодейка позади, А она засела глубоко в груди. (нем.)

Напрасные старанья: не убежишь.

– Увидим! Ну, прощай.

Они поцеловались по-братски. Затем Ластов подошел к дамам. Наденька держалась конвульсивно за руку матери, как бы ища опоры. Последняя кровинка исчезла из цветущего лица ее. Когда Ластов подал ей на прощанье руку, то почувствовал, как пальцы ее, горячие и влажные, дрожали в его руке.

– Прощайте, Надежда Николаевна.

– Прощайте...

Более не сказал ни один из них. Но в глазах ее, устремленных на него как-то грустно-вопросительно, он прочел немой вопрос:

– Что же стихи? Ведь это нехорошо...

– А что карточка? – спросил он вслух. Наденька покачала отрицательно головой. Хотел он справиться, что значит это отрицание: неудачу в похищении карточки или нежелание дать ее? Но тут под дверьми дома появилась Мари. Ластов вспыхнул и, коротко раскланявшись с дамами, прыгнул в дилижанс.

– Adeux!

– Ade!

– Прощайте-с!

Лошади тронули, громоздкий экипаж загремел по мостовой.

При повороте на мостик через Аар Ластов еще раз выглянул из заднего окошка. Сквозь желтые столбы пыли, поднятые колесами, различил он в отдалении живую картину: группа пансионеров глядела с площадки перед отелем вслед отъезжающим; впереди стояли мать и дочь Липецкие и Мари. Вдруг Наденька бросилась на шею к молодой швейцарке, толпа обступила их... Экипаж повернул за угол.

Ластов откинулся назад и пожал с чувством руку сидевшему возле него другу. Тот с удивлением посмотрел на него.

– Что с тобой.

– Заварил я кашу...

Кому ж-то придется ее расхлебать!

Какая сладость иногда в грусти! Просто, хоть сахар вари.

– А по мне так она как есть полынная настойка: и горька, и шеломит.

– Так и ты того?..

Змеин хмуро отвернулся, но Ластов очень хорошо понял, что это значит:

– Да, и я того – дурак набитый!

Утро, как мы уже заметили, было высшего достоинства: с голубым небом и солнечным блеском. Но доброкачественность погоды в минуту разлуки едва ли еще не усиливает тоски. Все милое, покидаемое нами, представляется в выгоднейшем свете, и тем больше нам оставить его. Неподвижно, безмолвно стояли наши два приятеля на корме парохода, уносившего их от унтерзеенской пристани к Туну. Все далее

уходили знакомые берега, из-за темных гребней которых посылали путникам последний привет свой белоснежные главы Юнграу, Мёнха, Эйгера... Одна за другой исчезали светлые вершины. Так гаснут яркие звезды волшебной летней ночи, так потухают безвозвратно звезды счастья...

– Прости, прости, мой край родной!

Уж скрылся ты в волнах... —

– пел тихий голос на корме судна.

– Kellner! – громко раздался там же другой голос. – Zwei Flaschen Liebfrauenmilch¹²⁰!

¹²⁰ Две бутылки Liebfraumilch (нем.)

Заключение

Недели две спустя Ластов, прибыв с Змеиным в Неаполь, нашел там следующее письмо на свое имя.

«Интерлакен, 24 июля.

*Amice carissime*¹²¹!

Я известился от Бронна (подлец он, отъявленный... но об нем речь впереди), что ты намерен пробыть некоторое время в Неаполе, поэтому письмо мое должно застать тебя.

Прежде всего спешу уведомить тебя, что я жених... Вижу, как ты бледнеешь, как письмо дрожит в руках твоих; но не пугайся, друг мой: жених я не Наденьки, а Мирочки. Сам не знаю, как это случилось. Не думал, не гадал, а вдруг оказался женихом. *Et d'une manière si commune*¹²²! Сначала даже досадно было. Но теперь свыкся со своей долей, в особенности, когда узнал, что беру приданого до 20 тысяч.

Случилось оно так. Последние дни мы с Мирочкой были все больше одни: то я отыскивал ее, то она меня. *Entre quatre yeux*¹²³ она позволяла мне даже целовать ей ручку, а ручка у нее – *sapristi!* маленькая, полненькая, с ямочками; и – что очень важно – *sans deuil*¹²⁴, так вот и просится на поцелуи!

¹²¹ Друг дорогой! (*ит.*)

¹²² Общая манера (*фр.*)

¹²³ наедине (*фр.*)

¹²⁴ без печали (*фр.*)

Да что ручка! Если бы ты видел ее ножку: *coude-pied*¹²⁵... Но это – статья, тебя не касающаяся.

Итак, сидим мы с нею в беседке и прочитываем *tour a tour* „*La Gaillarde*“ Поль де Кока (премиленький романчик!), один читает – другая слушает, другая читает – один слушает и наоборот, в обратном отношении квадратов расстояний. Тут замечает она на руке моей перстень.

– Ах, говорит, какой хорошенький!

И давай снимать его. А ручки у нее, как выше объяснено, *pes plus ultra*¹²⁶, и как взялась она ими, мягкими, теплыми, за мою, так просто не знаю, что со мною сделалось! Роман ли Поль де Кока растрогал или что другое – только словно электрический ток (а может быть, и гальванический, кто его знает) пробежал по всем моим суставам; я не выдержал, обнял милашку и вlepил ей наисмачнейшую безешку. Она не протестовала; но, делала вид, что не замечает, продолжала снимать у меня перстень и, сняв его, стала примерять его на все пальцы. Понятно, что он был ей велик. Тогда она продела в него два пальца, и смеется:

– Вот видите ли, и мне в пору! А меня точно бес какой толкнул:

– А что, говорю, если бы я попросил вас оставить его себе? Она опустила глазки.

– Переговорите с тетенькой, она моя опекунша... Я чуть

¹²⁵ подъем (*фр.*)

¹²⁶ лучше – некуда (*фр.*)

не провалился сквозь землю, в Америку.

Imbecile¹²⁷! Сам того не зная, сделал предложение. Но que faire¹²⁸? Благородному человеку нельзя отступить от данного раз слова, сконфузить ее тоже не хотелось – скрепя сердце, отправился я к опекунке, ну и, само собою, получил полное согласие...

Но обратимся к другой статье, тебя, без сомнения, более интересующей. Я не присутствовал при вашем отъезде (вольно же ехать в такую неслыханную рань!), но слухом земля полнится: рассказывали мне с разных сторон о трогательной прощальной сцене, как вы с Наденькой, пожимая руг ругу в последний раз руку, чуть не расплакались, как потом ты пересилил себя, оторвался от нее и бросился в дилижанс, как с нею сделалось дурно, и она чуть не растянулась перед всей честной компанией, как, наконец, мать потащила ее, рабу Божию, в свои внутренние апартаменты и задала ей там капитальную головомойку. Все кончилось бы еще благополучно, если б не твоя стихомания. Накуролесила твоя Муза! Нечего сказать. Ты обещался, говорят, написать Наденьке стишки и отдал их при отъезде твоему другу-копорнату, а тот, испугавшись эффекта, произведенного уже твоим отъездом, передал их матери. Mon Dieu! Что тут за драма разыгралась! Мы с Мирочкой подслушали все из соседней комнаты.

¹²⁷ Слабоумная (*фр.*)

¹²⁸ Что делать? (*фр.*)

„Ты, говорит, такая-сякая, связываешься со всякой шушерой, у которой и гроша в кармане нет, другое дело, если бы то был Куницын...“

Ее собственные слова, милый мой, не обижайся. Но и Наденька твоя не промах; разгорячилась не меньше матери.

„– Вы, – говорит, – не смеете не отдать мне стихов: они для меня написаны, они мои...“

И пошла, пошла. Но, понятно, солома силы не ломит: мать торжественно разорвала их, так что ты, собственно, для нее одной и писал их – никто другой не читал их. *Helas!* И смешно, и грустно; *du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas*¹²⁹, сказал Наполеон. Ты, однако, когда-нибудь дай мне прочесть свое послание – должно быть, препикантное.

Три дня Наденька глаз не показывала, а как показалась – Господи ты Боже мой! Что случилось с этой розовой, цветущей девушкой! Похудела, точно все эти три дня маковой росинки в рот не брала, и такая бледная, желтая... То ли дело моя Мирочка! Но не сердись, извини, пожалуйста; лучше не сравнивать их; после сам отдашь честь моему вкусу. *A propos de bottes*¹³⁰: твой дерптец, как выше сказано, подлец из подлецов. Чуть ты уехал, чуть Наденька вышла опять из затворничества (уж не мать ли посадила ее на хлеб и на воду?), как он приударил за ней, и хотя нельзя сказать, чтобы она заметно благоволила к нему, однако он ресировал уже настолько,

¹²⁹ от великого до смешного только один шаг (*фр.*)

¹³⁰ О сапогах (*фр.*) перен. – Без всякого повода.

что она улыбается его плоским острогам. Но успокойся; доказательством тому, что она еще не совсем утратила о тебе память, может служить прилагаемая карточка ее:

– Сдержал, мол, слово.

– Какое? – спросил я. – Написал стихи?

Она замялась, покраснела. Я очень тонко при этом подтрунил над нею; она как-то прежде отозвалась, что любовь – нелепость, что законна только разумная привязанность, вследствие многолетнего знакомства.

– Так-то-с, – сказал я ей, – вы питаете к Ластову разумную, многолетнюю привязанность?

Она сильно обиделась, но это показывает только, что я попал не в бровь, а в глаз, с чем тебя и поздравляю.

Могу рассказать тебе еще одну новость, хотя уже более грустного свойства. Ты, конечно, заметил тут смазливую, черномазую горничную, Мари? До Липецких я, *faute de mieux*¹³¹, вздумал приволокнуться за ней, и хотя она играла сначала неприступную, но я уверен, что достиг бы желанной пристани, если б не Наденька, а за ней Мирочка. Вдруг вчера делается с нею нервная лихорадка; бредит, опасаются даже за ее жизнь... А ведь, чего доброго, во всем виноват я? Немки эти ведь сентиментальны донельзя, я ее поцеловал как-то в коридоре, уверял в страстной любви, ну, она, вероятно, и возмечтала; а как узнала, что я присватался к Мирочке, так с отчаянья... Очень может быть! Меня даже грызет немнож-

¹³¹ за неимением лучшего (*фр.*)

ко совесть; но кто ж виноват в том? Неужели мужчина, который сумел пленить глупенькую? На то силачу и сила, чтобы упражнять ее; и могу тебе сказать по секрету, что мне даже нимало неприятно, что и здесь, и таких небольших стараниях с моей стороны, успел вскружить девушке голову не на живот, а на смерть: видишь – весь прекрасный пол отдает тебе должный атрибут.

Но есть всему конец на свете,
И даже выпреним мечтам.

И письмам. Ответ ты можешь адресовать мне в Париж; я уверил Липецких, что и там можно получить сыворотки, да еще лучше здешних. Ха, ха, ха! Вероятно же, можно? На днях мы отправляемся в дорогу. Радуюсь наперед удовольствиям, которые оставлю там своей душе-невесте. Целую тебя заочно.

Твой С. Куницын.

P.S. Когда я за обедом упомянул, что пишу к тебе, Лиза просила передать твоему приятелю Змеину, что симпатическое средство его против зубной боли наконец помогло ей, и чтобы он не забывал шестое июля будущего года.

– Что такое шестое июля? – говорю.

– Змеин, говорит, поймет.

Ну, а коли поймет, так и хорошо. Я не из любопытных.

Addio, carissime¹³²».

1863–1864

¹³² Прощай, дорогой (*ит.*)